

7000 дней в ГУЛАГе

Автор:

[Карл Штайнер](#)

7000 дней в ГУЛАГе

Карл Штайнер

Истории и тайны (АСТ)

Перед вами мемуары австрийца Карла Штайнера, который 20 лет провел на островах архипелага ГУЛАГ (Бутырка, Лефортово, Александровский централ, Соловки, «Норильлаг» и «Озерлаг»). Он начинал отбывать свой срок с сестрой Генриха Ягоды, заканчивал – с родственниками Лаврентия Бери, испытав все ужасы репрессий и политического насилия. «В тюрьмах НКВД, в ледовых пустынях Крайнего Севера, повсюду, где мои страдания превышали человеческую меру и границу терпения, я носил в себе одно-единственное желание – все это перенести и рассказать всему миру и, прежде всего, своим товарищам по партии и друзьям, о том, как мы эти ужасы пережили... Я редко пускался в анализ и комментарии событий. Я хотел прежде всего описать голые факты. А читатель пусть сам вершит свой суд».

Карл Штайнер

7000 дней в ГУЛАГе

© Карл Штайнер, текст

© Виктор Юнак, перевод

Эту книгу я посвящаю моей жене Соне, верно ждавшей меня

Предисловие переводчика и составителя

За рукописью книги Карла Штайнера, которую вы сейчас держите в руках, несколько лет охотились издатели в Европе, уговаривали автора, предлагали хорошие гонорары, но Штайнер стоял на своем: я хочу, чтобы мои мемуары сначала вышли у меня на родине, в Югославии. А на родине, в социалистической (хотя и проводившей независимую от Советского Союза внешнюю политику) Югославии книгу долго не решались напечатать по той причине, что это могло бы вызвать (и в конце концов действительно вызвало) недовольство Москвы. Даже несмотря на то, что Штайнер пользовался дружбой и покровительством Йосипа Броз Тито, с которым его связывали давние, еще с начала 30-х годов, отношения. Поэтому, хотя Карл Штайнер закончил свои мемуары через несколько лет после полной реабилитации в 1957 году (а освобожден из ссылки годом ранее), книга была напечатана только в 1972 году. При этом в своем предисловии сам автор мемуаров признается, что, несмотря на все круги ада, которые он прошел в сталинских лагерях, он был и остается коммунистом: «В тот момент, когда руки НКВД меня уже не могли достать, я начал готовиться к осуществлению этого своего замысла. Я знал, что задача у меня очень трудная, прежде всего потому, что я боялся, как бы моя книга, как и многие другие, не попала в список антисоветской литературы, и как бы все то, что я пережил, многим не показалось невероятным и тенденциозным. Боялся я и того, что недоброжелатели используют мою книгу в качестве оружия против социализма.

Поэтому я попытался доказать, что все то, что произошло в Советском Союзе, является не порождением социализма, а следствием предательства социалистической идеи, контрреволюционного переворота».

Когда же книга наконец увидела свет, а потом и была переведена на немецкий язык, Штайнера стали называть в Хорватии «нашим Солженицыным». Москва

же, естественно, выставила президенту Югославии Йосипу Броз Тито ноту за то, что выпустил антисоветскую книгу. Эта книга стала весьма популярной в Югославии (СФРЮ), вышло 24 издания, а в 1972 году загребской газетой «Vjesnik» книга «7000 дней в Сибири» была провозглашена книгой года, а ее автор получил национальную премию Ивана Горана Ковачича за лучшую книгу года.

Появилось много рецензий и отзывов на «7000 дней в Сибири». И в одной из таких рецензий было отмечено, что, если бы эта книга увидела свет раньше, чем «Архипелаг Гулаг» (а написана она была, напомним, действительно раньше), то произведение Александра Солженицына было бы принято в мире гораздо спокойнее. И я, как один из немногих, наверное, людей в России, который читал оба произведения, вполне с этим соглашусь. Поскольку Александр Исаевич описывал многое со слов (или письменных свидетельств) бывших заключенных, а не виденное собственными глазами. Карл Штайнер же описывал все то, что он лично пережил, лично видел – а пережил и видел он за двадцать лет пребывания в ГУЛАГе очень многое и не один раз бывал на грани жизни и смерти. Лубянка, Матросская Тишина, Бутырки, Соловецкий лагерь особого назначения (печально известный СЛОН), Александровский централ; наконец, Штайнер может с полным основанием считать себя первостроителем Норильска. К тому же сам занимавший в Коминтерне не последнюю должность (он был директором издательства и типографии Коминтерна), Штайнер много общался с людьми своего круга (и до ареста, и после). К тому же, живя в Европе, он многие события наблюдал не со стороны, а изнутри. Поэтому в его мемуарах мы встречаем много людей, внесших немалый вклад в историю коммунистического и рабочего движения (к примеру, основатель коммунистической партии Палестины Иосиф Бергер много лет провел в заключении рядом со Штайнером). Если закольцевать его воспоминания, можно образно сказать так, что начинал Штайнер сидеть с сестрой Генриха Ягоды, а заканчивал с семейством Лаврентия Бери, сосланном в поселок Маклаково Енисейского района Красноярского края (ныне город Лесосибирск) после ликвидации последнего.

Более того, сам Штайнер резко критиковал Солженицына, и принял его «Архипелаг ГУЛАГ» в штыки. По мнению Штайнера, целью Солженицына было показывать идею коммунизма как некое страшилище, он отбрасывал социализм как нечто самое ужасное. «С одной стороны, он хочет рассчитаться со сталинизмом, но делает это таким образом, что ничего о нем не слышавший человек становится приверженцем сталинизма», – говорит Штайнер в интервью хорватскому журналисту-историку Драгославу Симичему. И далее добавляет: «К сожалению, все то, о чем пишет Солженицын, я не могу опровергнуть. Все это

было. Но, в отличие от меня, он все это пережил, говоря полиграфическим языком, как цицero (мелкий типографский шрифт, кегль (размер) которого равен 12 пунктам (4,51 мм). – В.Ю.). В одном месте он пишет: когда сквозь окна своего барака он видит автобус, направляющийся в Москву, у него на глазах выступают слезы. А я от этого места был на 10 000 километров севернее, где до 1936 года не жил ни один человек. Это была ледяная пустыня, куда даже животные не забредали. Он всего этого не видел. Он находился в учреждении, которое тоже называлось лагерем, но близ Москвы. И уже из-за этого человек, побывавший в тюрьмах, в которых я был, не поверил бы писателю». Полностью с интервью К.Штайнера, которое он дал в 1988 г. хорватскому журналисту Д.Симичу, можно ознакомиться в конце этой книги.

Автор мемуаров довольно подробно описывает в книге свою биографию, поэтому остановлюсь здесь на ней весьма коротко. И сразу хочу уточнить: немец по национальности, родившийся в Австрии, Штайнер с девятнадцати лет, пока его не перевели в Москву на работу в Коминтерн в 1932 году, жил в Хорватии. Поэтому и своей родиной, и родным языком он считал Югославию и сербскохорватский язык, хотя, разумеется, свободно владел немецким и еще французским.

Карл Штайнер родился 15 января 1902 года в Вене. Там же вступил в Союз коммунистической молодежи в 1919 году. В Вене организовал подпольную типографию. По предложению председателя Коммунистического интернационала молодежи Вильгельма Мюнценберга перебрался в Хорватию, для организации подпольной типографии, где печатались коммунистические листовки, книги и брошюры. Был выслежен полицией и арестован. Сбежал во Францию, где провел почти год, но и там был арестован и депортирован, как уроженец Австрии в Вену. Но австрийская полиция его также арестовала и тоже депортировала, поскольку во время проживания в Югославии Штайнер успел получить югославское гражданство. Впрочем, спасая его от югославской полиции, тогда еще просто представитель Коминтерна Георгий Димитров переплавляет Штайнера в Берлин с тем чтобы он и там наладил работу коммунистической типографии. Однако, перед угрозой прихода к власти Гитлера, в 1932 году по заданию югославской компартии Штайнер приехал в Советский Союз для работы в Балканской секции Коминтерна. В Москве, как уже отмечалось, работал директором типографии исполкома Коминтерна.

Арестован 4 ноября 1936 года как немецкий шпион и приговорен к 8 годам тюремного заключения. Сослан на Соловки в 1937 году. В 1939 году соловецким

этапом прибыл в Норильлаг. 22 октября 1939 года вместе с Иосифом Бергером и Георгом Билецким дополнительно осужден на 10 лет.

1 июня 1948 года комиссия Норильлага приняла решение о переводе Штайнера в особую тюрьму НКВД СССР. Возможно, был отправлен в Александровский централ. По окончании срока направлен в ссылку на поселение в Красноярский край. В 1953 году работал на строительстве дома инвалидов. В октябре 1954 года переехал в поселок Маклаково Енисейского района.

Когда в 1955 году Никита Хрущев решил помириться с Югославией и он с Тито обменялся визитами, одним из условий примирения президент Югославии обозначил освобождения всех югославских политзаключенных из гулаговских лагерей, при этом Тито вручил Хрущеву список из восьми десятков югославов. Начали срочно выяснять, кто из этого списка еще жив – их осталось всего шестеро, в их числе оказался и Карло Штайнер. Он был освобожден из ссылки 10 апреля 1956 года по Постановлению Президиума Верховного Совета от 23 марта 1955 года. Очень быстро реабилитирован, после чего уехал с женой Соне, которая преданно ждала его все эти почти двадцать лет, в Югославию. Именно жене Соне Карл Штайнер и посвятил свою книгу.

Карл Штайнер написал еще две книги мемуаров: «Povratak iz Gulaga», Naprijed, Zagreb, 1981 («Возвращение из Гулага»), и «Ruka iz groba», Globus, Zagreb, 1985 («Рука из могилы»).

Он умер 1 марта 1992 года в Загребе.

В конце книги в качестве приложения публикуется личное дело Карла Штайнера (а также личное дело его друга Иосифа Бергера) и его второй приговор.

Виктор Юнак, член Союза писателей России, кандидат филологических наук

Предисловие автора

В тюрьмах НКВД, в ледовых пустынях Крайнего Севера, повсюду, где мои страдания превышали человеческую меру и границу терпения, я носил в себе одно-единственное желание – все это перенести и рассказать всему миру и, прежде всего, своим товарищам по партии и друзьям, о том, как мы эти ужасы пережили.

В тот момент, когда руки НКВД меня уже не могли достать, я начал готовиться к осуществлению этого своего замысла. Я знал, что задача у меня очень трудная, прежде всего потому, что я боялся, как бы моя книга, как и многие другие, не попала в список антисоветской литературы, и как бы все то, что я пережил, многим не показалось невероятным и тенденциозным. Боялся я и того, что недоброжелатели используют мою книгу в качестве оружия против социализма.

Поэтому я попытался доказать, что все то, что произошло в Советском Союзе, является не порождением социализма, а следствием предательства социалистической идеи, контрреволюционного переворота.

Основанием для моего доказательства служит уничтожение старой партийной гвардии в период с 1936 по 1939 годы.

Основанием для моего доказательства служит заключенный в 1939 году пакт Сталина с Гитлером, направленный против социализма и демократии.

Основанием для моего доказательства служит и факт выдачи немецких коммунистов в руки гестапо, и факты арестов и убийств иностранных коммунистов в СССР.

Сталин после войны представил еще одно доказательство подобного извращения идеи социализма, когда, прикрываясь Коминформом, напал на Югославию, поставив под угрозу ее свободу и специфическое направление социалистического строительства.

Все то, о чем я рассказал в этой книге, нужно понимать не как суммирование всего, мною пережитого, а как маленькую часть того, что произошло на самом деле. Если бы я вздумал рассказать обо всем, что я вместе с десятками тысяч людей вынес за двадцать лет пребывания в советских тюрьмах и лагерях, мне нужно было бы иметь сверхчеловеческую память.

Имена героев этой книги не вымышлены. Если я и изменил некоторые из них, то сделал это ради того, чтобы не поставить этих людей под угрозу возможных репрессий.

Я редко пускался в анализ и комментарии событий. Я хотел прежде всего описать голые факты. А читатель пусть сам вершит свой суд.

Часть I

Арест, следствие и военный трибунал

Москва, 1936 год

Всё началось 4 ноября 1936 года в Москве на улице Новослободской, 67/69, в квартире № 44. Была ночь. Я спал глубоким сном, пока меня не разбудил неожиданный звонок в дверь. Я почувствовал на плече руку жены.

– Карло, Карло, – глухо произнесла она.

Я потянулся в постели. Кто-то продолжал настойчиво звонить. Кого это принесло в такое время? Я глянул на часы: два часа сорок пять минут. Звонок повторился, но теперь уже более настойчивый. И вдруг меня обуял страх перед чем-то неизвестным. Я неспешно поднялся. Звонить не переставали.

– Кто там? – робко спросил я.

– Товарищ Штайнер, откройте! Это я, управдом.

Приоткрыв дверь, я и в самом деле увидел лицо управдома.

– В вашей кухне, кажется, протекает кран. Вода капает на нижний этаж. Я должен проверить, – сказал он быстро и как-то смущенно.

- У нас все в порядке, - ответил я.

- И все-таки откройте, я хочу убедиться лично, - настаивал управдом.

Едва я открыл дверь, как тут же заметил офицера и двух солдат. Один солдат остался снаружи, а другой вместе с офицером, и управдомом вошел в квартиру. Офицер расстегнул шинель и я увидел знаки различия старшего лейтенанта НКВД. Первой его фразой было:

- Оружие есть?

- Нет, - ответил я, на удивление совершенно спокойно.

Страх перед чем-то неизвестным у меня исчез. Опасность была рядом и теперь уже более чем явственной.

Офицер заученными до автоматизма движениями обыскал меня. Это был светловолосый и стройный мужчина лет тридцати. Его крестьянское лицо не выражало никаких чувств. Протянув мне лист бумаги, он грубо произнес:

- Ордер на арест!

Он стал рассматривать меня, как охотник осматривает пойманную добычу, разве что с меньшим интересом. «Очевидно, он так привык», - подумал я.

Я вернул ему документ. Приказав мне сесть, он направился в другую комнату.

- Кто это? - спросил он, указав рукой на лежавшую в постели жену.

- Моя жена.

- Встаньте! - приказал офицер.

- Извините, моя жена на последнем месяце беременности, - обратился я к офицеру. - Прошу вас, будьте так любезны и разрешите ей остаться в постели. Ей нельзя волноваться.

- Встаньте! - повторил офицер.

Соня поднялась, я бросился ей помогать.

- Сядьте и не двигайтесь! - заорал офицер.

Но я сделал вид, будто не расслышал этого, подошел к кровати и помог жене одеться. Одновременно сюда подошел и офицер, принявшись обыскивать каждую подушку, простыню, одеяло. Все это он сбросил на пол, а мне и жене снова приказал не двигаться. Он перевернул всю комнату. Пока офицер производил обыск, солдат внимательно нас разглядывал.

Я пытался успокоить испуганную и разволновавшуюся жену, но офицер приказал мне замолчать. Обыск продолжался два часа. Офицер внимательно осматривал каждую вещь, книги на иностранных языках откладывал в сторону. Закончив, он приказал мне одеваться. Жена заплакала, я пытался ее успокоить.

- Что ты возьмешь с собой? - спросила она.

- Ничего. Зачем мне брать что-либо? Это явное недоразумение, я скоро вернусь домой, - успокаивал я ее.

- Вперед! - приказал офицер и направился к двери.

Я последовал за ним. Солдат остался сзади. Я даже не успел попрощаться с женой. Было слышно только, как она плачет.

На лестничной площадке к нам присоединился второй солдат. У подъезда стоял автомобиль. Меня втолкнули внутрь. Слева и справа от меня сели солдаты, офицер расположился рядом с водителем.

- Поехали! - скомандовал старший лейтенант.

Машина мчалась по улицам спящей Москвы. Я пытался понять, что произошло, но в моих ушах все еще звучал плач жены. Мне казалось, что я прощаюсь с жизнью.

Лубянка – главный штаб НКВД

Через десять минут автомобиль остановился у главного здания НКВД на Лубянке. Открылись массивные ворота, и машина въехала во двор. Из машины выскочил солдат и приказал мне выходить. Я огляделся. Мы находились в узком дворе, со всех сторон окруженном шестиэтажными зданиями с зарешеченными окнами. Меня подтолкнули к открытой двери, и я оказался в помещении площадью примерно пятьдесят квадратных метров. Вдоль стен стояли ряды стульев, на которых сидело около тридцати мужчин и женщин, рядом с которыми лежали узлы с вещами. Некоторые из них смотрели сквозь стены ничего не видящими глазами, другие, наоборот, глаза закрыли.

В комнате стояла тишина, прерываемая лишь всхлипываниями какой-то девушки. Я снова подумал о жене. Через каждые двадцать минут двери открывались и часовой вызывал нас по имени. Спустя два часа подошла и моя очередь. Меня отвели в соседнюю комнату. Там со всех сторон стояли полки, на которых были разложены узлы, чемоданы, корзины, пакеты. За пультом стояло несколько мужчин в форме НКВД и женщин в белых халатах.

Я подошел к пульту. Один из младших командиров взял лист бумаги и спросил, как меня зовут. Я ответил.

– Есть ли у вас деньги, какие-нибудь ценные вещи?

Я достал бумажник и часы, пересчитал деньги и все это вручил ему. Через несколько минут он выдал мне две расписки. Затем мне приказали раздеться догола. После обыска одежду мне вернули. Конвойный провел меня по нескольким переходам и лестничным клеткам в коридор с целым рядом дверей. Надзиратель, державший в руке целую связку ключей, открыл одну дверь и втолкнул меня внутрь. Я оказался в душевой и грязной камере, шириной в три и длиной в пять-шесть метров. На полу лежало до тридцати человек. Одни завернулись в свои пальто, другие набросили их на себя так, что не было видно лиц. Поднялось несколько голов, посмотрев на меня усталыми глазами. Мужчина с длинной светлой бородой немного потеснился и предложил мне лечь рядом с ним. Я осторожно, стараясь ни на кого не наступить, пробирався к нему. Добраться до него мне удалось с трудом.

– Сразу видно, что вы иностранец, – сказал светлорылый. – Наши гораздо более решительны.

Я ничего не ответил. Заметив мое возбуждение, он добавил:

– Отдыхайте. Утром поговорим.

Он спросил меня, который час. Я пожал плечами. Он замолчал и закрыл глаза. Я осмотрелся: одни спали, другие наблюдали за мной из-под полуоткрытых век.

Я лежал на голом полу в одежде и пальто. Меня знобило и трясло от дрожи, хотя в камере было душно и жарко. Я пытался думать. Что со мной происходит? Чего от меня хотят? Как долго я пробуду здесь? Что будет с моей женой, ведь она в таком положении? Неужели на меня кто-то донес? Мысли, не имея точки опоры, носились в голове вихрем. Я закрыл глаза, попробовал задремать, заснуть. Тщетно. Снова те же вопросы, на которые я не находил ответа. Несколько часов, оставшиеся до рассвета, показались мне бесконечной вечностью.

Вдруг наполовину приоткрылась дверь и надзиратель крикнул:

– На opravку!

Вместе со всеми я прошел по коридору в уборную, имевшую несколько перегородок. Там одни сразу уселись на корточки, другие стали умываться в жестяном умывальнике. Я облил лицо ледяной водой, и мне сразу полегчало. Через несколько минут надзиратель погнал нас назад в камеру. Меня сразу окружили сокамерники. Начались расспросы. Я отвечал неохотно, несколькими словами. Поняв, что мне не до разговоров, некоторые стали меня утешать:

– Не вы один такой. Тюремные переполнены. Мы тоже не знаем, за что сидим. Потерпите, придет и ваш черед...

Снова открылась дверь, и разносчик внес на доске тридцать четыре полукилограммовые пайки черного хлеба и два ведра кипятка. Заключенные налили кипятка в свои алюминиевые кружки. У меня кружки не было, но мне и не хотелось ни есть, ни пить. Каждый разрезал свой хлеб на две-три части ниткой, поскольку ножом не было. Я обратил внимание, с какой жадностью все

поедают свой хлеб и запивают его кипятком, а крошки, упавшие на пол, старательно подбирают и следят за тем, чтобы ни одна не выпала у них изо рта. Ели в полной тишине, словно исполняя некий обряд. Оставшийся хлеб бережно заворачивали в тряпочку или мешочек. Это были пайки на обед и ужин.

Мой бородатый сосед спросил, почему я не ем.

- Нет аппетита, - ответил я.

Мой хлеб лежал нетронутый, снедаемый голодными глазами. Я предложил его своему соседу, но тот посоветовал мне спрятать его, поскольку в тюрьме было очень голодно. Мне с трудом удалось уговорить его взять хотя бы половину. Он поблагодарил меня и тут же съел свою часть. Бородач рассказал мне, что его привезли сюда из Владивостока и что он в этом собачнике уже четвертый месяц ожидает вызова к следователю. Арестовали его девять месяцев назад. После революции, с 1917-го по 1920-й, он руководил на Дальнем Востоке борьбой партизан с японцами. После этого работал в Управлении промышленности рыбных консервов. А сейчас его обвиняют в том, что он готовил вооруженное восстание против советской власти с целью присоединения к Японии советского Дальнего Востока.

Услышав, какие страшные дела замышлял этот человек, я испугался, что мне придется рядом с ним лежать и разговаривать. Я спросил его, как же могло случиться, что бывший революционер дошел до такого. Он громко рассмеялся, сказав, что такое ему даже во сне не могло присниться и что все эти обвинения являются выдумкой НКВД. Его большая светлая борода и широкие плечи тряслись от смеха. Мне казалось, что это сама дикая дальневосточная природа смеется над моим вопросом. Я смотрел на него удивленно.

Бородач спросил, в чем меня обвиняют. Я ответил, что я ничего не знаю и что я еще никого не видел, кроме людей, арестовавших меня. К нам подошло еще несколько человек, спросили, кто я такой и откуда. Я ответил, что я политэмигрант и нахожусь в Советском Союзе с 1932 года. Мои ответы были скудными и бессвязными. Меня продолжал мучить один-единственный вопрос: почему я здесь? Возможно, все это кошмарный сон. Голосов я почти не слышал.

В полдень мы получили пол-литра овощной баланды и чайную ложечку горошка. Баланду я есть не мог. Около шести часов вечера нам снова принесли по ложке

горошка. В десять часов трижды вспыхивал и гас свет. Это было сигналом для отхода ко сну. заключенные постелили пальто на пол и легли. Лег и я. Слишком устав за день, я быстро заснул.

Но долго спать не пришлось. Открылась дверь, и я услышал, как одного заключенного позвали на допрос. Второй раз я засыпал долго. Потом меня снова разбудили.

- Идемте на допрос! - обратился ко мне часовой, стоя у двери.

Я поднялся, обул ботинки и вышел в коридор, где меня ждала молодая светловолосая женщина в форме НКВД, в пилотке с кокардой. В руке у нее была записка.

- Ваша фамилия? - спросила она.

Я ответил.

- Вперед!

Несколько раз на нашем пути открывались железные решетки. Сначала мы поднялись на третий этаж, затем спустились во двор, наконец вошли в большое здание и на лифте поднялись на шестой этаж. Конвойная привела меня в большую комнату, где за письменным столом сидел седоватый мужчина лет сорока, среднего роста, с подстриженными усами, в форме капитана НКВД. Мой конвойная протянула мне записку. Я расписался на ней, не отходя от двери. Конвойная вышла. Капитан мельком взглянул на меня, указал рукой на стул и произнес:

- Садитесь. Моя фамилия Ревзин, я ваш следователь. Как вы хотите, чтобы мы разговаривали - по-немецки или по-русски?

- Мне все равно, - ответил я.

Он протянул мне лист бумаги:

- Прочитайте это и подпишите.

Я взял бумагу. Это оказался обвинительный акт следующего содержания:

«1. Карл Штайнер обвиняется в том, что он является членом контрреволюционной организации, убившей Секретаря Центрального Комитета ВКП(б) и Секретаря Ленинградского обкома партии С.М. Кирова;

2. Он обвиняется в том, что является агентом гестапо».

Дочитав до конца, я рассмеялся.

- Не смейтесь! Это серьезное обвинение, - сказал Ревзин.

Я чувствовал себя хорошо, настроение поднялось.

- Дело абсолютно ясное - речь идет об ошибке. К этому я не имею никакого отношения, - я говорил спокойно и уверенно.

- Вы заблуждаетесь! Ни о какой ошибке речи быть не может. У нас есть доказательства, и вам лучше во всем искренне признаться.

- Что вы говорите, боже милостивый! Я ни в чем не виновен, я всегда был хорошим коммунистом и свои партийные обязанности выполнил беспрекословно, - я говорил решительно, желая убедить его в том, что все это недоразумение.

- Сегодня мы больше не будем говорить на эту тему. Возвращайте в камеру и обо всем подумайте. Завтра продолжим, - поднялся Ревзин.

В тот же момент появилась моя конвойная и отвела меня назад в камеру. Как только дверь камеры закрылась, сокамерники окружили меня, спрашивая, где я был. Я рассказал им, в чем меня обвинил Ревзин.

- Невероятно! Все это вымышлено! - произнес я на повышенных тонах.

- Вы иностранец, значит, шпион, - слышались голоса.

– Но я к этому не имею никакого отношения.

– Неужели вы думаете, что мы имеем отношение ко всему тому, в чем нас обвиняют? Черта лысого! Нам такое никогда даже и не снилось, – раздались нервные и злые голоса.

Надзиратель несколько раз ударил ключами по двери, а это означало, что нужно прекращать разговоры. Каждый лег на своем месте. Я не мог заснуть, постоянно думал о предъявленном обвинении. Как вообще возможно такое, чтобы я впутался в подобную аферу? Что все это значит? Я утешал себя тем, что все разъяснится, что все увидят эту очевидную ошибку и вскоре меня отпустят домой.

Начался новый день. Снова принесли хлеб. На обед опять была баланда и горошек, на ужин – каша. Весь день мы говорили о моем ночном допросе, некоторые рассказывали о своих делах и фантастических обвинениях. Половина же сидевших вообще не знала, за что их арестовали.

Молодого крестьянского парня обвинили в терроризме за то, что во время ссоры с председателем колхоза он пригрозил, что убьет его. А другого моего сокамерника обвинили в ведении контрреволюционных разговоров. Против него свидетельствовал родной брат, заявивший на очной ставке, что по-другому он не может поступить, поскольку НКВД добивается от него только правды. Позже я узнал, что этого человека, по фамилии Смирнов, «тройка» приговорила к восьми годам лагерей. «Тройкой» называлась специальная комиссия НКВД, выносившая административным путем приговоры тем, кого не выводили на суд.

Шли дни. На допрос меня никто не вызывал. Меня перевели в другую комнату на шестом этаже, отличавшуюся от собачника тем, что здесь были железные койки, соломенные тюфяки, подушка и постельное белье. Это была одиночка, но в ней разместили три койки, а пол покрасили так, что он казался до неприличия чистым. Четыре дня я был один, на пятый день привели еще двоих. Наконец, на четырнадцатый день меня вызвали на второй допрос. Следователь Ревзин извинился за то, что раньше не мог меня вызвать, у него было много работы, но он обязательно допросит меня завтра. Это было все, что мне сказал. Не задал мне ни единого вопроса. Я вспомнил, о чем мне рассказывали заключенные в собачнике. Это привычный прием НКВД: тебя вызовут и пообещают завтра допросить, но, разумеется, этого не сделают, а заставят тебя ждать. Так и держат в напряжении и ожидании.

Я познакомился со всеми новыми товарищами по камере. Ларионов, высокий, крупный мужчина, руководил химическим заводом в Кемерове. Старый член партии. Его обвинили во вредительстве на предприятии, которым он руководил. Он клялся мне, что это все выдумано и никакой протокол он не подпишет. Однажды ночью Ларионова увели, и вернулся он лишь через пять дней. Пять дней и пять ночей он стоял в углу, лишь раз в день получая немного баланды и хлеба. Этот сильный человек, во время Гражданской войны воевавший в Красной армии и прошедший сквозь все военные невзгоды и тяготы, не выдержал этой пытки и подписал все, что от него требовали. Через три недели его увели из камеры, и больше я его никогда не видел.

Людей обычно допрашивали ночью. Ночью же увели и Гольдмана. Вернулся он в камеру в четыре часа утра со сломанными ребрами. Гольдман был личным секретарем Рыкова, когда тот занимал пост Председателя Совета народных комиссаров. От него добивались признания в том, что его начальник Рыков завербовал его в агенты гестапо. Он ни в чем не признался и ничего не подписал. Он лежал и стонал с субботы до понедельника. Только в понедельник утром пришел врач и спросил, на что он жалуется.

- Эти собаки... проклятые собаки... - простонал Гольдман.

Через два часа пришли охранники с носилками и унесли его. Я снова остался в тесном помещении наедине со своими мыслями и вопросами: как? почему? сколько это будет продолжаться? что делает Соня? знает ли она, в чем меня обвиняют? Вихрем крутились в голове всегда одни и те же мысли.

В следующие дни в мою камеру поместили троих заключенных. Один из них был моим старым знакомым по собачнику, двух других только недавно арестовали. Немец по национальности, Шаб жил в Москве, пятьдесят лет проработал в одном и том же охотничьем магазине на Кузнецком Мосту. Сейчас ему было шестьдесят пять. Через два дня после ареста он узнал, что является «агентом гестапо». Несчастный, отчаявшийся старик вообще не мог понять обвинения, не мог сосредоточить свои мысли. Он уверял меня, что абсолютно ни в чем не виновен, просил посоветовать, что ему нужно сделать, чтобы опровергнуть это чудовищное обвинение. Что я мог сделать, что посоветовать, если мне и самому нужен был совет?

Старика Шабана однажды допрашивали сорок восемь часов подряд. Следователь, молодой, гладко выбритый и амбициозный шустрик, ругал старика самыми последними словами:

- Ты старая курва, старая бестия, гад ползучий! Знаем мы вас, которые по пятьдесят лет служат капиталистам! Мы покажем тебе, что такое НКВД. Если ты в течение двадцати четырех часов не подпишешь протокол, мы из тебя сосиски сделаем, старая собака, подлец швабский...

Рассказывая мне об этом, старик Шабан плакал. Однажды ночью он разбудил меня и попросил, если меня освободят раньше него, навестить его жену и сказать ей, что он ни в чем не виноват. Жена его живет в Москве на улице Баумана. Старик решил объявить голодовку. Он лежал в камере пять дней почти без сознания. На шестой день его вынесли. Спустя много лет я встретил в Норильске заключенного Нехамкина, который вместе с Шабаном лежал в тюремной больнице. Нехамкин рассказал мне, что старик Шабан умер, не приходя в сознание. К сожалению, исполнить последнюю просьбу товарища Шабана я не смог.

Если со стариком Шабаном я довольно быстро установил тесный контакт, то со вторым заключенным этого сделать мне не удавалось. Он не желал разговаривать.

- С контрреволюционными элементами я не хочу иметь никаких дел, - таким был его ответ на все попытки заговорить с ним.

Это был мужчина лет шестидесяти. Фамилия его была Вишняков. Он работал ректором Промакадемии в Москве. Однажды я рассказал ему о себе, что я коммунист, являюсь членом партии с 1919 года, что я за коммунистическую деятельность сидел в разных тюрьмах Европы и что я теперь вот обвинен в шпионаже, терроризме и диверсии.

- НКВД не арестовывает невинных людей, - ответил мне старик Вишняков.

- Ну хорошо, а за что вас арестовали? - спросил я.

- Это ошибка, недоразумение, - ответил он коротко и повернулся ко мне спиной.

Однажды нас посетил тюремный администратор в белом халате.

– У кого есть деньги, тот может купить в тюремной ларьке хлеб, сахар, мармелад, селедку и папиросы.

Он дал нам три листа бумаги, на которых нужно было написать, что мы хотим купить. Я заказал три пачки папирос, хоть и был некурящим, и кусок мыла. На следующий день нам принесли все, что мы заказывали. Папиросы и кусок мыла я предложил Вишнякову. У старика не было денег, а он был страстным курильщиком.

– Как у вас язык повернулся мне что-то предлагать! Враг народа, а пытается меня подкупить! – разозлился он на меня.

Я промолчал, оставив папиросы и мыло на столе.

Ночью меня разбудил скрежет открываемого замка. Подняв голову, я увидел в открывшейся кормушке голову дежурившего в коридоре энкавэдэшника. Тот пальцем поманил меня к себе.

– Тут есть на «в»? – шепотом спросил он.

Так они поступали всегда, когда не были уверены, что попали в нужную камеру. Они не хотели, чтобы в соседней камере знали, кто находится рядом. Я разбудил Вишнякова.

– Одевайтесь! Без вещей! – приказал конвоир.

В восемь часов утра Вишняков вернулся с допроса.

– Ох, ох, что происходит. Мне сказали, что я бандит, вредитель, враг народа, троцкист, что меня раскрошат, сотрут в порошок, если я не признаюсь. Боже, как это возможно... – стонал старик Вишняков, нарезая круги по камере и держась за голову.

– Возьмите папиросу, это вас успокоит, – я протянул ему пачку.

Старик закурил и заплакал. Затем подошел к двери и стал по ней стучать. Пришел надзиратель.

– Дайте мне бумагу и чернила, я должен написать товарищу Сталину. Пусть он узнает, что здесь творится.

– Бумагу требуйте у следователя, у меня нет никакой бумаги, – проворчал надзиратель и ушел.

Обессиленный Вишняков сел на кровать, снова закурил и посмотрел вокруг себя отсутствующим взглядом. Когда пришло время идти на прогулку, старик даже не пошевелился. Ежедневно мы гуляли 15–20 минут в тесном дворике или по ровной крыше тюрьмы. Гулять следовало по кругу, шагая один за другим, держа руки за спиной и глядя в землю. Голову нельзя было поворачивать ни направо, ни налево. Разговаривать запрещалось. Наказывали за каждую мелочь. Обычно нарушителя на пять дней лишали прогулки или запрещали покупать что-либо в тюремном ларьке. Особенно следили за тем, чтобы кто-либо не спрятал кусочек бумажки, которую каждый получал утром и вечером перед тем, как идти в уборную. Конвоир наблюдал в глазок, использовал заключенный бумагу или нет.

После долгой паузы меня снова вызвали на допрос. Теперь меня почти каждую ночь уводили из камеры около 23-х часов и допрашивали по два-три часа. Однако на этом допрос не заканчивался – меня держали на ногах еще по сорок восемь часов. В первые дни допросы вел Ревзин, он был вежливым и корректным. Уговаривал во всем признаться, обещал, что меня тут же снова примут в партию. А может, и наградят орденом. Я спросил следователя, в чем конкретно они меня обвиняют:

– Нам известно, что вы – агент гестапо, а кроме того, являетесь членом контрреволюционной организации, убившей Кирова, – ответил Ревзин.

– Это все выдумки. У НКВД нет доказательств моей вины, поскольку я никогда в своей жизни не имел дела ни с такими людьми, ни с такими организациями.

– Вас никогда бы не арестовали, если бы у НКВД не было доказательств вашей вины. Доказательства предъявлены, прежде всего, Исполкому Коминтерна, поскольку вы являетесь его сотрудником, и Исполком одобрил арест. Затем обвинительный материал был доставлен генеральному прокурору Советского

Союза Вышинскому, который и подписал ордер на ваш арест, – хладнокровно, растягивая слова, говорил Ревзин.

Я потребовал, чтобы мне предъявили этот ордер. Ревзин вытащил из ящика стола и протянул мне лист бумаги. На нем было написано: «Арест одобряю. Вышинский».

– Я ничего не понимаю. Я могу вам только повторить: я не имею никакой связи с этими делами, и НКВД придет к такому же выводу, – ответил я следователю.

В одну из суббот меня снова вызвали на допрос. Нужно сказать, что в субботу и воскресенье допрашивали редко, поэтому я удивился вызову. Ревзин снова встретил меня своей деланой любезностью:

– Видите, Штайнер, из-за вас я отказался от своего воскресного отдыха. Мне хотелось бы закончить ваше дело как можно скорее. Но все зависит только от вас.

– Что касается меня, то я готов сделать все от меня зависящее, чтобы вы поскорее отпустили меня домой, – ответил я.

– Хорошо, в таком случае мы можем говорить серьезно, – решительно произнес следователь и вынул какие-то бланки, на которых было напечатано: «Протокол допроса».

Задав несколько стереотипных вопросов (имя, фамилия, год и место рождения), он спросил:

– Признаете ли вы, что являетесь членом контрреволюционной организации, убившей секретаря Центрального Комитета ВКП (б) и Ленинградского обкома партии Кирова?

– Я могу вам сказать только то, что уже повторял несколько раз, а именно: я к этому не имею никакого отношения и я абсолютно не виновен.

Ревзин отложил ручку.

- Таким образом у нас ничего не получится. Вы должны во всем сознаться.

- Мне не в чем сознаваться, я не виновен.

Так продолжалось всю ночь. Ревзин уговаривал меня быть благоразумным и во всем сознаться, а я, не знаю уж в который раз, уверял его, что я абсолютно не виновен. Взглянув на часы, Ревзин нажал на кнопку. Когда вошел конвоир, он произнес:

- Идите в камеру и хорошо подумайте, я завтра вас опять вызову. Но одно я могу вам сказать уже сегодня: если вы и дальше будете продолжать в том же духе, если и дальше будете твердолобо отпираться, это для вас кончится плохо. Понимаете, плохо!

Я ничего не ответил.

В понедельник меня вызвали снова. В комнате вместе с Ревзиным сидел еще один следователь.

- Вот этот тип, который думает, что может водить нас за нос. У меня уже не хватает терпения возиться с ним. Попробуй-ка ты. А если он и дальше будет таким же твердолобым, то просто поставь его к стенке.

Представив меня таким образом новому следователю, Ревзин вышел.

- Садитесь, - предложил новый следователь.

Вынул из кармана пачку папирос и протянул мне.

- Спасибо, не курю.

Новый следователь закурил и стал рыться в каких-то бумагах. Я получил возможность рассмотреть его. Был он лет сорока, высокий, с черными, зачесанными назад волосами, гладко выбритый и красивый. На нем была не гимнастерка, а партийная рубашка. Выкурив папиросу, он спросил:

- Хотите есть?

- Нет.

- Тогда попозже выпьем чаю.

Я молчал. Он заговорил со мной в дружеском тоне. Поинтересовался, кто я и как оказался в Советском Союзе. Я рассказывал ему о себе, о том, что по национальности я австриец, что я вынужден был эмигрировать из Югославии из-за преследования полиции, что я некоторое время жил во Франции, которую также вынужден был покинуть из-за коммунистической деятельности. Он слушал меня очень внимательно. Позвонил, вошла девушка.

- Принесите две чашки чая и дважды по сто граммов колбасы, - попросил он.

Через несколько минут девушка принесла чай и колбасу.

- Ешьте, ешьте, вы, конечно, голодны, - предложил он.

Мы пили и ели. После еды он закурил. Стряхивая пепел, произнес:

- Вы же умный человек. Послушайте, что я вам посоветую. Признайтесь мне во всем и скажите, кто вас завербовал, какие задания вы получили, кого вы завербовали, какие задания вы дали этим людям?

- Я абсолютно невиновен. Ни меня никто не завербовал, ни я никого не вербовал.

После этих моих слов следователь вскочил и закричал:

- Знаете ли вы Эймике?

- Да.

- Расскажите мне, где вы с ним познакомились.

- Я сидел с одним знакомым в ресторане «Метрополь», - начал я вспоминать обстоятельства знакомства с Эймике. - Это было в 1934 году. К нашему столу подошел человек и поздоровался с моим знакомым. Потом познакомился с ним и

я, и он присел с нами. Из разговора за столом я узнал, что Эймике является владельцем берлинского зоопарка и постоянно посылает в Советский Союз животных из тропических стран, а взамен получает животных, живущих на Крайнем Севере. Впоследствии я дважды встречал его на улице, мы здоровались, но ни о чем не говорили. Это все.

– Лжете! Я вам докажу, что вы несколько раз оказывались с Эймике в одном гостиничном номере, где он вам и давал шпионские задания.

– Теперь мне ясно, что все выдуманно. Мне известно, что за всеми гостями гостиницы «Метрополь» наблюдает НКВД, поэтому НКВД наверняка известно, что я никогда не был с Эймике в одном гостиничном номере.

Следователь был взбешен. Он вскочил, ударил ладонью по столу, перевернул чернильницу и разбил чашку от чая.

– Наконец, я понял, с кем имею дело! Вы опасный человек. Как вы думаете, где вы находитесь? Вы думаете, что вы находитесь в австрийской полиции? В НКВД вас быстро научат уму-разуму, – орал он.

– Я прошу вас приказать отправить меня в камеру. Я не допущу, чтобы меня мучили и третировали, как собаку, – поднялся я со своего места.

Следователь пришел в еще большую ярость.

– Сядьте на свое место и не смейте вставать без моего разрешения. И вообще, что я с вами разговариваю. Встаньте лицом к стене!

Я встал и повернулся лицом к стене. Так я простоял два часа. Затем он приказал мне сесть, а сам взял бумагу и начал писать протокол допроса. В протоколе было записано все, что я говорил, те же вопросы, те же ответы, с той лишь разницей, что следователь попытался неточно интерпретировать мои ответы. После долгих споров он все же согласился написать так, как я требовал.

Последующие две недели почти каждый день меня вызывали на допросы, но по сути своей ничего не изменилось: те же вопросы, те же ответы. Мне показалось, что мой следователь Грушевский не такой уж плохой человек, и поэтому на

одном из допросов я спросил у него, что с моей женой.

– Мы следим за каждым шагом вашей жены, и могу вас уверить, что она очень хорошо себя чувствует. Сразу же после вашего ареста она нашла себе другого и спит с ним, – цинично ответил он.

Я был вне себя, услышав такое. Я был взбешен настолько, что забыл, где нахожусь. Я кричал на него и ругался.

– Какое вы имеете право так говорить о моей жене! Это фашистские методы! Сегодня я больше не произнесу ни единого слова.

Я так громко кричал, что из соседней комнаты пришел офицер посмотреть, что случилось. Успокоившись, я сказал следователю:

– Моя жена должна вот-вот родить, может быть, она уже в роддоме. Я считал, что имею дело с человеком. Но я был глуп, думая о том, что вы хотя бы на мгновение забудете о том, что я арестант, и по-человечески ответите на мой вопрос. Сейчас я вижу, что ошибся.

Грушевский вел себя так, словно ничего не произошло. Он пообещал поинтересоваться, что с моей женой, и завтра же мне об этом сообщить. Я вернулся в камеру.

Когда дверь камеры закрылась, я заплакал, как ребенок. Это был судорожный плач, первый в моей жизни. Мои сокамерники, услышав рассказ о происшедшем, ничуть не удивились. Они очень хорошо знали методы НКВД, не гнушавшегося никакими средствами, чтобы деморализовать подследственных.

Спустя восемь дней меня вызвали в тюремную канцелярию и сообщили, что моя жена родила дочь и они обе хорошо себя чувствуют. Я был счастлив, потому что таким образом узнал, что моя жена не арестована. В большинстве случаев в НКВД обычно попадали и жены арестованных мужей, невзирая на то, беременны они, больны ли, или имеют грудных детей. В Бутырской тюрьме было три сотни женщин с грудными детьми и детьми до одного года. Как только детям исполнялся год, НКВД насильно отбирал детей у матерей и помещал их в детский приемник, находившийся в ведении НКВД. Сцены, разыгрывавшиеся в момент, когда у матерей отбирали детей, были ужасными!

Бутырская крепость

В середине декабря 1936 года в мою камеру пришел надзиратель и приказал мне собрать все свои вещи. «Что бы это значило?» – спрашивал я сам себя, нервно собирая вещи. Сердце учащенно забилось. Неужели меня освободят? Наспех попрощался с товарищами по камере. Меня привели в пустую комнату этажом ниже и тщательно осмотрели все мое тело. Когда с этой процедурой покончили, мне приказали одеться. Отвели меня в тот самый двор, где я уже был в самом начале. Там стоял небольшой грузовичок-фургон, на котором на четырех языках было написано: «BROT-ХЛЕБ-PAIN-BREAD». Милиционер открыл дверцу и приказал мне войти. Машина напоминала тюрьму. Внутри она была разделена перегородками на ячейки, в одной из которых я и разместился. Нельзя было даже пошевелиться, воздуха не хватало. Я почувствовал, что другие ячейки тоже заняты. Я хотел было обратить внимание на себя соседней кашлем, но охрана, сидевшая с нами, запретила нам издавать какие бы то ни было звуки.

Машина мчалась по Москве, а москвичи даже не подозревали, что этот четырехязычный хлебный фургон везет жертв НКВД. Минут через двадцать мы остановились у крупнейшей московской тюрьмы НКВД – Бутырской. Открылись двойные решетчатые двери, нас выгрузили. Солдаты ругали и толкали нас по любому поводу. Всё должно делаться быстро.

– Быстреей, быстреей, руки за спину! – кричали конвоиры.

Открылись большие массивные ворота, затем еще одни, железные, и мы оказались в большом вестибюле, какие бывают в железнодорожных вокзалах. Справа и слева были двери без ручек. Одна из них открылась, и меня втолкнули внутрь. Камера, в которой я оказался, напоминала бетонную коробку. Лишь одна лавка была привинчена к стене. Одиноко и пусто. Окна нет. Я сел на лавку и слушал, как открывается одна дверь, вторая, третья и как в камеры входят арестованные. Некоторые из них что-то пытались спросить у конвойного, однако ответ всегда был одним и тем же:

– Молчать! Не разговаривать!

Прошло довольно много времени, прежде чем меня отвели в душевую, напаренную душевую, где мне выдали кусочек мыла. Я вымылся. Через двадцать минут конвоир постучал в дверь и крикнул:

- Одевайся!

Я оделся и ждал. В этой проклятой душевой было так жарко, что даже дышать было невозможно. Я прождал целый час. Наконец пришел конвоир и повел меня через двор в пятиэтажное здание. На втором этаже мы остановились перед камерой № 61. Конвоир приказал мне раздеться догола.

- Послушайте, разве вы не видите, что я мокрый? Как же я разденусь на таком холоде? - сказал я ему.

- Раздевайся и не гавкай, - заорал он и стал срывать с меня одежду.

Тщательно обыскал и одежду, и белье. Все это продолжалось двадцать пять минут. Я стоял в коридоре совершенно голый. Каменный пол был очень холодным. Я был уверен, что при температуре минус 25 градусов (а был декабрь) обязательно заболею воспалением легких, но, к счастью, отделался всего лишь насморком. Конвоир открыл камеру и втолкнул меня внутрь.

Я не верил своим глазам. Неужто заботами дьявола я попал в самое пекло? Камера длиной около восьми метров и шириной около пяти была набита полуголыми людьми. Одни сидели в калсонах, другие лежали на нарах, привинченных к стене, третьи, которым не удалось захватить место на нарах, сидели на корточках на голом полу. Невозможно было сделать даже шага в сторону от двери. Сотни глаз уставились на меня. Я стоял, словно прикованный. Молча! Тут из толпы ко мне попытался пробиться один человек. Ему это удалось.

- Вам придется временно разместиться здесь, - сказал он и указал на место возле параша.

- Завтра или послезавтра я найду вам место получше, - успокоил меня староста камеры.

Я осмотрелся, подыскивая место, где бы можно было сесть. С обеих сторон стояли две огромные параши, прикрытые ржавыми крышками. В уборную можно было ходить только два раза в день в сопровождении конвойных. А ночью и днем, когда дверь была закрыта, пользовались парашей.

Я присел на корточки у параши.

Вскоре заключенные окружили меня и стали задавать вопросы: когда я арестован, за что, откуда я и т. д. Когда узнали, что я иностранец, то сказали, что среди них тоже есть иностранцы. Очень скоро я познакомился с некоторыми из них.

Дырища, в которую нас сунули, имела около сорока пяти квадратных метров, и была рассчитана на 24 заключенных. Сейчас же нас в ней было две сотни, а в иные дни в нее запихивали и 260 человек. Стояла вонища. Ужас! Камера никогда не проветривалась, жара была невыносимой, дышалось с трудом. Люди теряли сознание.

Жизнь в камере начиналась около пяти часов утра. Открывались двери, у которых уже толпились самые нетерпеливые и, переминаясь с ноги на ногу, ждали, когда их пустят в уборную. Параша за ночь заполнялась доверху. Ее могли унести только четыре человека. Они же одновременно должны были следить за порядком и чистотой в камере. Каждый день четверка дежурных менялась. В уборную ходили тремя группами. Там же был и умывальник, вокруг которого мы всегда толпились.

В восемь утра приносили хлеб. Каждый на день получал по 400 граммов. Хлеб принимал староста камеры. Кроме хлеба, на завтрак мы получали либо кипяток, либо какие-то кофейные помои. На обед нам давали пол-литра овощной похлебки и 150 г просяной каши, а если не было проса, то кашу варили из чего-то еще более противного. Вечером мы снова получали пол-литра баланды. Еды давали слишком мало для нормального человека, к тому же она была невкусной. Поначалу мне было противно есть. Заключенные, у которых были деньги, могли в тюремном ларьке каждые 10–12 дней покупать хлеб, селедку, маргарин, а иногда масло, сахар и папиросы.

В сталинских тюрьмах существовал хорошо законспирированный определенный вид солидарности. В большинстве камер организовывали так называемые

«комбеды», заботившиеся о том, чтобы те, у которых не было денег, получали кое-что из продуктов и папиросы. Каждые десять дней заключенный мог получать по 50 рублей, которые ему передавали родные. Во время покупок 10 % отдавалось тем, у кого не было никаких средств.

В тюремный ларек ходил староста камеры и еще 5–6 человек с мешками и простынями. Прежде всего, составляли список заказчиков. Ларек находился в соседнем помещении. Платили согласно весу купленных товаров, а в камере все делилось на маленькие кучки. Каждый брал себе столько, сколько заказывал. Пока поедали свои запасы, а это длилось четыре-пять дней, у всех было хорошее настроение. А потом мы ждали следующего отоваривания.

Вечером главной проблемой было отыскать какое-нибудь местечко, лежали почти друг на друге. Дышать было тяжело. Повернуться на другую сторону можно было только в том случае, если все в этом ряду повернутся одновременно. Самым большим счастьем было устроиться на нарах, а наиболее трудным считалось торить себе ночью путь к параше. Нужно было ходить по чужим головам. Ежедневно нас водили на пятнадцатиминутную прогулку. Тюремные были переполнены, и на прогулку ходили группами. Тюремное начальство разрешило и ночные прогулки. Так, нас будили ночью, в два или три часа и гнали во двор. Раз в месяц нас из одной камеры переводили в другую. Здесь нас снова раздевали догола, обыскивали и все, что было запрещено, отбирали. А что не было запрещено? Кусочек жести, железа, гвоздь, игла, любой твердый предмет – все это было запрещено. Обыск продолжался пять часов. Ночью нас гнали мыться и в это время дезинфицировали вещи, оставшиеся в камере.

Первый иностранец, с которым я познакомился в этой дырище, был венгерский коммунист Лантош. Он сидел в углу один и ни с кем не разговаривал. Это был типичный интеллигент с несимпатичным выражением лица, сухощавый, со взглядом из-под очков, всегда устремленным куда-то вдаль. Как-то я подошел к нему и поздоровался по-русски. Он ничего не ответил. Я не хотел навязываться. Но на следующий день совершенно случайно между нами состоялся разговор. Лантош не знал ни слова по-русски. Мы говорили по-немецки об обычных вещах. Я узнал лишь то, что он из Будапешта. В тот раз он мне больше ничего не рассказал. Через несколько дней его вызвали на допрос. Его увели ночью, а вернулся он на следующий день после обеда. Никому ничего не говорил. В камере знали, что его на допросах бьют. Ни на один из моих вопросов он не отвечал.

Однажды поздно вечером, около 23-х часов, вызвали и меня. В комнате следователя сидели Ревзин, Грушевский и два молодых человека. Грушевский писал протокол, задавал вопросы, я отвечал. Ему мои ответы не нравились. Он снова стал настаивать на том, чтобы я сознался, что являюсь агентом гестапо и т. п., а я опять отвечал, что не виновен и что не буду ничего подписывать. Сидевшие до того спокойно молодые люди вдруг, как по команде, обрушили на меня самые отвратительные ругательства: твою фашистскую мать, фашистская мразь, курва предательская и т. д. Трудно перечислить все ругательства. Одновременно они начали срывать с меня одежду. Поняв, что меня ожидает, я обратился к Ревзину:

- Разрешите мне еще один день подумать.

Ревзин приказал безбородым палачам оставить меня в покое. Затем и Грушевский, и Ревзин опять стали уговаривать меня сознаться, быть благоразумным, так как с НКВД шутки плохи.

Меня отвели в камеру.

Когда на следующую ночь меня снова вызвали, я сказал конвоиру, что не выйду из камеры. Конвоира это ошеломило. Он немного постоял в раздумье, а потом вдруг начал орать, как бешеный. Я забился в угол. Тогда он повернулся и ушел. Через десять минут вернулся с надзирателем.

- Иди сюда, сучий сын, - закричал надзиратель с порога.

Я не шелохнулся. Надзиратель угрожал и ругался.

- На допрос я не пойду до тех пор, пока сюда не явится прокурор.

Надзиратель попытался меня вытащить, обещая мне мед и молоко, но я не двинулся с места. Поняв, что у них со мной ничего не получается, они ушли, а через час пред нами предстал начальник тюрьмы в окружении целой толпы энкавэдэшников.

- Ну-ка быстро идите сюда. Вы думаете, что мы играть с вами будем? - завопил начальник.

– Не пойду. Позовите прокурора, – ответил я из своего угла.

Они не могли подойти ко мне, так как камера была переполнена. Тогда начальник тюрьмы приказал освободить ее. Началась толкотня. Через десять минут камера опустела. А я остался в своем углу. Вся орава энкавэдэшников набросилась на меня, скрутила и одела в смирительную рубашку. После этого меня, словно мешок, оттащили в подвал и бросили в карцер. Внизу, глубоко под землей было 12 карцеров разной величины, одиночные и общие камеры. Меня бросили в одиночку, но, поскольку тюрьма была переполнена, в ней уже сидело четыре человека. На узких нарах, прикрепленных к стене, с трудом пристроились двое, остальные вынуждены были спать на полу. Над дверью денно и нощно горела электрическая лампочка. По сравнению с предыдущей дырой здесь было более-менее сносно. По крайней мере, здесь можно было развернуться и прошагать метра два – до параши в углу и назад. Котелок теплой воды и 300 граммов хлеба. Голод и страшный холод. Через пять дней меня перевели в камеру номер 61.

Когда я вернулся в свою старую камеру, Лантош спросил меня, почему я, коммунист, создаю трудности тюремному начальству. Он сказал, что в коммунистической России человек и в тюрьме должен вести себя как коммунист.

– Когда ко мне применяют фашистские методы, я вынужден защищаться любыми способами, какие только возможны в тюрьме, – ответил я.

В ответ на эти слова Лантош начал возводить теорию о том, как коммунисты должны жертвовать собой, если этого от них требует партия. Я ничего не понял в этой его теории. Какая польза была бы рабочему движению от того, что я признался бы в том, чего не совершал, что является ложью? Впрочем, можно было и не признаваться, но тогда, по его мнению, я должен был позволить избить себя до смерти. Я не мог принять этот вздор Лантоша.

Наконец, он начал говорить о себе. Он был секретарем запрещенной коммунистической партии Венгрии. Два года нелегально жил в Будапеште и руководил венгерским коммунистическим движением. В их ЦК сформировалась группа оппозиции, не согласная с линией Лантоша. Вместо того, чтобы работать в массах и организовывать их, они дни и ночи проводили на конспиративных квартирах в дискуссиях и цитированиях Маркса и Ленина. Так и не определив общую точку зрения, члены ЦК обратились за помощью к высшей инстанции – Исполкому Коминтерна в Москве. Представителем Венгрии в Коминтерне был

Бела Кун, бывший председатель Совета народных комиссаров Венгерской Советской республики. Бела Кун провозгласил Лантоша фракционером и приказал ему прибыть в Москву. Лантош послушно приехал. Прямо в тюрьму. Его били, бросали в карцер, ругали, уговаривали. В конце концов он подписал показания, что по приказу правительства Хорти внедрился в коммунистическую партию, что был шпионом, что занимался вредительской деятельностью в партии и что честных коммунистов выдавал хортистской полиции.

Во всем этом Лантош признался и все подписал.

Я спросил его, есть ли хоть капля истины в том, что он подписал?

– Все то, о чем я сообщил и что подписал, – ложь. Именно та, вторая группа, обвинившая меня в Будапеште, состоит на службе у полиции и Хорти. Но коммунисты должны жертвовать собой.

Я не принял эту жертвенную дисциплину и никак не мог разобраться в антигуманных псевдокоммунистических теориях Лантоша. Он мне надоел.

Интересную историю поведал мясник Мишка, национальность которого я так и не смог установить. Он свободно говорил на румынском, венгерском, украинском языках и на идише. Он был единственным человеком в камере, который действительно был в чем-то виновен. Мишка (я забыл его фамилию) нам рассказывал, что он был членом коммунистической партии Западной Украины, входившей тогда в состав Чехословакии. В их организацию внедрился шпион. Полиции становилось известно все, что говорилось на их собраниях. Подозрение пало на одну девушку, еврейку, бежавшую из Польши от преследований полицией за коммунистическую деятельность. Девушка вступила в компартию всего несколько месяцев назад в Мукачево. Секретарь в Мукачево приказал эту девушку убрать. Иными словами, ее нужно было убить. Это задание поручили Мишке.

Однажды Мишка пригласил ничего не подозревавшую девушку прогуляться к реке, где они якобы должны выполнить некое партийное задание. Мишка привел девушку на пустынный берег, задушил ее и бросил в реку. Однако выполнил он свое задание плохо – девушка всего лишь потеряла сознание. В холодной воде она пришла в себя. Мишку охватил панический страх, когда он увидел, что она плывет к противоположному берегу. Он бросился к железнодорожному мосту,

перебежал на другой берег и поймал ее. Несчастливая умоляла его не убивать ее. Мишка обещал пощадить ее, если она признается, что является тайным агентом полиции. Девушка уверяла его, что она ни в чем не виновата и поэтому признаться в таком не может.

Мишка надолго задумался. Затем вынул нож, зарезал девушку и снова бросил ее в реку. Через некоторое время обнаружили ее труп. Полиция не смогла ни установить личность девушки, ни найти убийцу. Вскоре, однако, было установлено, что убитая девушка ни в чем не виновата, а шпионом был сам секретарь.

В конце концов, полиции все-таки удалось напасть на след убийцы и Мишке пришлось бежать в Советский Союз, где некоторое время он жил спокойно. Когда же обнаружили настоящего шпиона в Мукачево и определили, что убитая девушка была невиновна, Мишку арестовали. Он, оправдываясь, ссылаясь на то, что выполнял партийное задание.

Нам стало известно, что в Бутырку перебросили группу из одной из провинциальных тюрем, чтобы на очной ставке свести их с некоторыми здешними заключенными. В нашей камере оказался один человек из этой группы – молодой инженер Миша Левикинов. Поняв, что находится в одной камере с политическими заключенными, он страшно испугался. Как его могли бросить в такую камеру, если он никогда в жизни не занимался политикой? Его интересует лишь работа и семья. У него молодая жена и маленький сынок. Он часами рассказывал о своей жене и двухлетнем сыне. Его жена не знает, что он арестован, так как он был в командировке и должен вернуться на работу через пять дней. Он написал, что вернется в субботу. И сейчас они его встречают на вокзале, а его нет! Что подумает жена? Ведь она его страшно любит.

Миша надеется, что с ним до субботы разберутся, и он успеет приехать домой вовремя. Но прошло уже несколько дней, а его, естественно, никто не вызывал и никто ни о чем не спрашивал. Наступила и суббота, в которую он должен вернуться домой, а он все еще не знает даже причины своего ареста.

Я спросил его, может быть, он с кем-то разговаривал и что-то ругал? Он долго думал, но ничего не смог вспомнить. В воскресенье утром он подошел ко мне и сказал:

– Знаете, я всю ночь не спал, постоянно думал и, знаете, вспомнил. Однажды я выругался по поводу того, что мне прислали плохой изоляционный материал. Может быть меня за это арестовали? Могут ли за это арестовать?

Он смотрел на меня в ожидании ответа.

– Откуда я могу знать, за что всех арестовывают? – пожал я плечами.

Но вот его вызвали на допрос. Через два часа он вернулся в камеру бледный, не говорящий ни слова. Он осмотрелся вокруг, затем сел в угол и заплакал. Я подошел к нему, чтобы его успокоить. Он начал рыдать. Тут кто-то закричал:

– Что ты хнычешь, как баба! Не будь хлюпиком.

Успокоившись, он рассказал о своей встрече со следователем: «Ты, хитрая и двуличная троцкистская змея! Признавайся в своей троцкистской деятельности, подлец, негодяй, сучий сын!»

Когда поток ругательств иссяк, следователь сказал ему, чтобы он подумал и во всем сознался сам. Если же он будет все отрицать, то арестуют его жену, а его мальчик останется беспризорным.

Отчаяние Миши было безграничным. Он отказывался от еды, по ночам – судорожно всхлипывал. За четырнадцать дней превратился в скелет. Просто растаял. Он постоянно думал, но ничего не мог понять.

Однажды ночью, когда все уже легли спать, открылась кормушка в двери камеры и надзиратель тихо позвал:

– Левикинов!

Миша, бледный и испуганный, вскочил со своего места.

– Что такое? Что такое? Что случилось? – закричал он.

– Приготовьтесь к допросу.

Миша оделся и подошел к двери. Солдат отконвоировал его к следователю. Вернулся он рано утром. На столе его ждал хлеб и кипяток. От хлеба Мша отказался и выпил только две кружки кипятка. Никто ни о чем не решался его спрашивать.

Через некоторое время он сам начал рассказывать, что он пережил на допросе.

– «А сейчас вы нам расскажете всё о вашей контрреволюционной троцкистской деятельности», – такими словами встретил меня следователь. Я ему рассказывал, как я жил и что делал в свободное время. Следователь слушал меня, не перебивая. Когда я закончил, он спросил: «Вы были комсомольцем?» Я ответил, что, еще будучи очень молодым, вступил в члены коммунистического союза молодежи. «Ну вот, если так, – сказал следователь, – то назовите нам всех членов троцкистской организации». Я удивился и сказал ему, что это была не троцкистская организация, и что с тех пор прошло уже десять лет и поэтому я не могу вспомнить ни одного имени и ни одного комсомольца. «Ах ты, троцкистская собака! – заорал на меня следователь. – Или ты сейчас же назовешь мне имена этих бандитов, или я из тебя сделаю кашу!» Я клялся всем на свете, что я никогда не был троцкистом и что не могу вспомнить ни одного имени. Тогда следователь взял лист бумаги и прочитал мне несколько имен. Только после этого я стал кое-кого вспоминать. «Ну, вот видишь, сучий сын, вспомнил имена. А теперь вспоминай, как вы восхваляли Троцкого». Но этого я никак не мог вспомнить. Тогда следователь пригласил в комнату неизвестных мне четверых мужчин, которые мне в лицо начали говорить, что я голосовал за какую-то резолюцию в защиту Троцкого. Я на это ответил, что я, как и большинство моих товарищей тогда, действительно голосовал за какую-то резолюцию, но не имею никаких связей с троцкистами. Следователь составил протокол о том, что я был членом троцкистской организации, который я и подписал. Вот так было на моем допросе, – всхлипнул Миша.

Через шесть недель его увели. Спустя несколько дней, моясь в душе, мы нашли записку: «Миша Левикинов, 10 лет лагерей».

Когда меня привели на очередной допрос, в кабинете я увидел одного Грушевского, встретившего меня с усмешкой. Спросив, почему я отказался идти на допрос, он начал убеждать меня, что ни у кого и в мыслях не было истязать меня. Я спросил, почему же тогда меня стали раздевать? На это он ответил, что те молодые люди были врачами и что они хотели меня раздеть и осмотреть. Говоря это, он опустил глаза, листая для виду какие-то бумаги. После этого он

встал, прошелся по комнате и снова начал доказывать, как это глупо, что я не хочу сознаваться, и что этот мой твёрдолобый отказ подписать протокол может кончиться очень плохо.

– Вы можете меня разрезать на куски, но ложный протокол я не подпишу, – отрезал я.

– Это вам не поможет. Подпишете вы его или не подпишете, из тюрьмы вас все равно не выпустят. Если подпишете, то вам будет легче, а в противном случае вас ожидает тяжелая жизнь в лагере, – уверял меня Грушевский. И в этом он оказался прав: то, что я отказался подписать ложный протокол, очень тяжело на мне сказало в тюрьмах и лагерях.

– Я советую вам изменить свое решение, ведь вы даже не представляете, что вас ожидает, – повторил он несколько раз.

Я знал, что в НКВД не останавливаются перед применением самых страшных и самых свирепых пыток для того, чтобы жертва призналась и подписала «показания». Важно было, чтобы она подписала.

Московский инженер Воробьев, с которым я лежал на одних нарах в 61-й камере, рассказал мне, каким образом его заставили подписать протокол. Партиец Воробьев в составе комиссии по закупке станков отправился в командировку в Англию. По возвращении оттуда его арестовали как вредителя. От него требовали признания в том, что он преднамеренно покупал такие станки, которые не соответствовали имевшемуся у нас оборудованию, и таким образом хотел помешать строительству социализма. Конечно, все это он делал в пользу английской буржуазии, стремящейся любой ценой помешать индустриализации СССР. Воробьев решительно отказывался признать это и подписать такую глупость. Однажды ночью, как и обычно, его вызвали на допрос. Через два часа он вернулся сломленный и отчаявшийся. Его нельзя было узнать. В тот момент он отказался что-либо рассказывать, ограничившись лишь словами:

– Я все признал и подписал.

И лишь на следующий день он поведал нам, как происходил процесс «признания».

– Как и обычно, привели меня в кабинет следователя. Он спросил, надумал ли я сознаваться, а я ответил ему, что я не совершал никакого преступления, поэтому и сознаваться мне не в чем. Следователь посоветовал мне сейчас же во всем сознаться, так как мое дело они должны закрыть сегодня ночью и откладывать его больше нельзя. Я снова отказался признавать свою вину и подписывать ложь. Следователь снял телефонную трубку и кому-то приказал: «Приведите свидетелей против Воробьева». Разумеется, я был удивлен, я никак не мог взять в толк, что это за свидетели. Через несколько минут я услышал чей-то плач. Я узнал голос своей жены. Дверь открылась, и в комнату вошли моя жена, девятилетняя дочь и двенадцатилетний сын. Увидев меня, они горько заплакали, обняли меня, стали целовать и просить: «Папа, папа, подпиши, не делай нас несчастными. Если подпишешь, вернешься домой, а если не подпишешь, то и нас арестуют». Я был в отчаянии, я не знал, что делать, и начал объяснять детям, что я ни в чем не виноват и что мне нечего подписывать. Тут вмешался следователь: «И вам не стыдно? Собственная жена и дети вас просят, а вы и дальше упрямитесь. Через три дня вы могли бы быть дома». Дети и жена плачут. И я не смог этого выдержать. Взял перо и подписал.

Воробьев был осужден на десять лет лагерей, а его жену отправили в ссылку.

Военная тюрьма в Лефортово

Прошло еще несколько месяцев без допросов. Лишь в августе 1937 года я услышал привычный голос:

– Штайнер, на выход!

Когда меня вывели во двор, я заметил знакомую машину НКВД для «перевозки хлеба». Я подумал, что меня повезут на допрос на Лубянку, однако ошибся. Поездка длилась гораздо дольше. Когда машина остановилась и я вышел из нее, то заметил, что меня привезли в какую-то другую тюрьму. Я стоял посреди двора, окруженного со всех сторон зданиями с решетками. Меня подвели к каким-то воротам, где меня встретил офицер НКВД и спросил, как зовут, когда родился, а потом приказал солдату обыскать меня. Меня раздели догола и тщательно осмотрели одежду. Когда все закончилось и я снова оделся, на руки мне надели наручники, а на ноги кандалы.

– Вперед! – скомандовал солдат.

С огромным трудом, еле волоча ноги, я поднимался по лестнице. Конвоир открыл окованную железом дверь и втокнул меня внутрь. Я оказался в квадратном каменном мешке, длина и ширина которого равнялась одному метру. В одном углу стоял табурет, привинченный к полу. Усевшись, я стал думать, куда же меня привезли. Проходили часы, меня стал мучить голод. Если меня увезли из Бутырок в полдень, то сейчас должен быть вечер. Я ждал ужина, но напрасно. Подойдя к двери, я постучал. Надзиратель спросил, в чем дело. Я сказал, что еще не получил ужина.

– Ты чего? Какой может быть ужин в час ночи.

Я снова сел. Что все это значит? Что они хотят со мной сделать? Я устало лег на голый бетон, а проснувшись через некоторое время, подняться не смог. Тут открылась дверь и конвойный приказал выходить. Собрав все силы, я попытался подняться, но не смог даже пошевелиться.

В конце концов меня подхватили под руки два конвоира и потащили через двор в другое здание. Я оказался в ярко освещенной комнате на третьем этаже. Слева и справа обитые кожей двери. В ожидании я рассматривал висевшие на стенах портреты Сталина, Молотова, Ежова и Кагановича. На одной из стен висели часы, показывавшие два часа десять минут. Меня провели в соседнюю комнату. За письменным столом сидел человек в штатском, рядом стояли два сотрудника НКВД в форме. Справа, возле стены, сидел еще один человек, показавшийся мне знакомым, хотя лицо его было покрыто многодневной щетиной. Сидевший за письменным столом произнес:

– Сейчас будет проведена очная ставка. Предупреждаю вас, что вы не имеете права задавать свидетелю никаких вопросов. Знаете ли вы человека, находящегося здесь?

– Кажется, знаю.

– Кто это?

– Не могу вспомнить?

- Подумайте.

Я мучительно пытался, но никак не мог вспомнить, откуда я знаю этого человека. Видя мои затруднения, следователь обратился к свидетелю:

- А вы? Знаете ли вы этого человека?

- Да.

- Кто это?

- Это Штайнер.

- Откуда вы знаете Штайнера?

- С ним меня познакомил Эймикэ.

- Кто такой Эймикэ? - спросил следователь странного свидетеля.

- Это резидент гестапо в СССР.

- Что вы знаете о Штайнере?

- Эймикэ мне рассказывал, что Штайнер является агентом гестапо.

- Что вы на это скажете, Штайнер?

- Этот человек или безумец, или провокатор, вот что я думаю, - ответил я, а следователь тут же вскочил и набросился на меня с потоком отвратительнейшей брани, и со всей силы ударил меня по лицу.

Из носа у меня потекла кровь, в глазах потемнело. Придя в себя, я увидел стоящего рядом солдата со стаканом воды и полотенцем в руках. Побрызгав водой на полотенце, солдат стер с моего лица кровь. Кто-то принес чашку чая и насильно влил мне его в рот. Следователь приказал снять с меня кандалы. Я

обратил внимание, что свидетеля в комнате уже не было. Но следователь приказал привести его снова.

- Шутц, вы подтверждаете заявление, сделанное вами несколько минут назад? – обратился к нему следователь.

Услышав фамилию Шутц, я вспомнил, кто это. Ну да, это был тот самый человек, с которым я сидел в ресторане «Метрополь» в тот момент, когда к нашему столу подошел Эймик. Именно Шутц мне его и представил. Самого Шутца я знал поверхностно, это было ресторанное знакомство. В тюрьме он так изменился, что я не смог его узнать. На вопрос следователя Шутц ответил не сразу, заставив того вскочить, заорать и спросить, не желает ли он, Шутц, снова оказаться в карцере. После этого тот еле слышно ответил:

- Да, подтверждаю, – и, подойдя к столу, подписал заявление.

Следователь попытался заставить меня сознаться. Он грубо ругался, но я упорствовал. Тут офицер, стоявший рядом, подошел к двери, позвал конвойного и сказал ему, указывая на меня пальцем:

- Уведите эту скотину к черту!

Меня снова отвели в уже знакомую квадратную каменную гробницу. Одиночество меня успокоило.

Через час меня перевели из карцера в обычную камеру. Это была одиночка с одной железной койкой, которая днем прижималась к стене. Утром мне принесли кусочек хлеба и кипятка. Я тут же ожил и даже попробовал пройтись по камере, но очень быстро устал. Сел на табурет, положил голову на стол и задремал.

- Не спать! – прокричал надзиратель в глазок.

На четвертый день ко мне в камеру посадили человека. Я уже не помню его имени. Знаю только, что он был секретарем академика Губкина, что его перевели сюда из Бутырской тюрьмы и что его обвиняли в троцкизме. Я спросил его, как называется эта тюрьма.

- Это военная тюрьма Лефортово, - ответил он.

Вечером его увели на допрос, и больше в камеру он не вернулся.

В Лефортове я провел две недели. Это был настоящий ад. Каждую ночь раздавались жуткие стоны и ужасные крики. По одну сторону коридора были кабинеты следователей, по другую - камеры. Только в этой тюрьме я видел такое расположение: и камеры, и кабинеты следователей находились напротив в одном коридоре. У заключенного не было ни секунды покоя. Если его самого не мучили, он должен был слушать, как мучают других, как их бьют и измываются над ними. Это было непередаваемо жутко. Особенно невыносимо было, когда допрашивали женщин, как правило, жен арестованных раньше «врагов народа». Как только над ними не издевались! Их избивали дубинками, подвергали отвратительным пыткам, осыпали площадной бранью, и все для того, чтобы они оговаривали своих мужей. Жен, проживших со своими мужьями по двадцать лет, арестовывали только за то, что они «поддерживали связь с врагом народа». За эту «связь» они получали по десять-пятнадцать лет сибирских лагерей. Их дети, как правило, оказывались в детских домах НКВД. Ни родственники, ни кто бы то ни было другой не решались брать этих детей к себе, ибо опасались ареста за все ту же «связь с врагом народа».

Меня привели к прежнему следователю, который задал мне все тот же вопрос: надумал ли я подписать протокол? Я снова ответил, что ни в чем не виноват. Следователю надоело со мной возиться. Он сказал, что дает мне пятнадцать минут. Если я через пятнадцать минут не подпишу протокол, он меня расстреляет. Меня отправили в камеру, располагавшуюся напротив кабинета следователя. Через пятнадцать минут за мной пришли.

- Ну что, будете подписывать?

- Я подумал. Я лучше умру, чем подпишу ложь, - ответил я.

Следователь вынул часы и взглянул на меня.

- Даю вам еще пять минут.

Я молчал. Следователь нажал на кнопку. Вошел солдат.

- Позовите ко мне лейтенанта.

Тот появился тут же.

- Вот, возьмите этого, и в расход.

Лейтенант подошел ко мне, раздел догола, одежду бросил в угол, снял телефонную трубку и произнес:

- Двух человек в полном снаряжении на третий этаж в 314-ю комнату.

Вошли два конвойных с примкнутыми к винтовкам штыками. Тело мое била дрожь, по лбу потекли струйки холодного пота. Солдаты окружили меня с двух сторон.

- Вперед! - скомандовал лейтенант.

Я не мог пошевелиться. Они толкали меня впереди себя. Спустились в подвал. Навстречу нам шел какой-то офицер и, сделав удивленное лицо, спросил, куда меня ведут. Лейтенант остановился и отрапортовал:

- На расстрел!

- Верните его. Попробуем еще раз, - приказал офицер.

Меня отвели в камеру. Одежда моя была уже там. Я лег на койку, накрылся, но никак не мог согреться, стучал зубами от холода и долго дрожал, как в лихорадке. Наконец заснул. Через три дня меня вызвал начальник тюрьмы, вручил мне какой-то отпечатанный на машинке бланк и предложил прочитать его и подписать. Это был «обвинительный акт»:

«Из достоверных источников НКВД стало известно, что политэмигрант Карл Штайнер завербован гестапо, что он занимался шпионажем и готовил акты диверсий. Для выполнения этих целей обвиняемый Карл Штайнер вступил в связь со многими иностранными и советскими гражданами.

Карл Штайнер состоял в членах организации, убившей С. М. Кирова. Несмотря на упорное отрицание обвиняемого, его преступление доказано показаниями свидетелей.

На основании вышеизложенного Карл Штайнер обвиняется по статье 58, пунктам 6, 8 и 9. На основании закона от 1 декабря 1935 года обвиняемый предается Военной коллегии Верховного Суда СССР.

Генеральный прокурор СССР:

А. Вышинский».

Военный трибунал

Итак, все иллюзии относительно моего освобождения рассеялись. Мне вручили обвинительный акт. Теперь мне стало ясно: тот, кто арестован, виноват наперед. Это главный и непоколебимый принцип НКВД. Суд – это формальность. Обман и ничего больше.

Ночью, 6 сентября 1937 года меня снова бросили в каменную гробницу, в которой я пробыл два дня. Два раза в день я получал по 400 г хлеба и кружку кипятку. В 23 часа за мной пришли конвойные и отвели меня в комнату площадью в тридцать квадратных метров. Стол был покрыт зеленой скатертью. В комнате не было никого, кроме конвойных и меня. Мне приказали сесть, но не успел я этого сделать, как вбежал офицер и закричал:

– Встать, суд идет!

В помещение вошли высшие офицеры и сели за зеленый стол. За маленьким столиком сбоку устроился молодой человек в форме – секретарь суда. Начался суд. Офицер, сидевший в центре, произнес:

– Начинается разбирательство военной коллегии Верховного Суда СССР в отношении Карла Штайнера, обвиняемого в преступлениях, соответствующих статье 58, пунктам 6, 8 и 9 Уголовного кодекса. Обвиняемый, встаньте!

Признаете ли вы себя виновным?

- Нет! Я абсолютно не виновен.

- Как вы оказались в России? - спросил председатель суда.

Не успел я произнести и двадцати слов, как председатель прервал меня:

- Прошу вас, покороче.

Я хотел было продолжить, но председатель снова не дал мне говорить.

- Имеете ли вы что сказать в своем последнем слове?

Только я открыл рот, как снова заговорил председатель:

- Нам все известно. Достаточно!

Председатель повернул голову налево, направо, что-то шепнул левому, затем правому офицерам. После этого все трое встали и вышли. Конвоир приказал мне сесть. Прошло немного времени, и судьи вернулись. Раздалась команда: «Встать!» Председатель, держа в руках лист бумаги, прочитал нечто такое, из чего я понял лишь приговор. Он гласил: десять лет строгого режима. Весь судебный процесс длился не более двадцати минут. Не было ни государственного обвинителя, ни защиты.

В том же коридоре, где был зал суда, конвоир открыл дверь одной из камер и втолкнул меня внутрь. Я оказался среди людей, которым вынесли приговор в этот же день и таким же образом, как и мне. Здесь было восемнадцать человек. В общей сложности суд над ними продолжался чуть меньше четырех часов. В камере находились рабочие и крестьяне, техническая интеллигенция и партийные деятели. Оказался здесь и директор цирка. Когда я вошел в камеру, никто меня не спросил, сколько лет я получил.

Это было известно всем!

Никто меня не спросил, как проходил процесс и каково было обоснование приговора.

У всех все было абсолютно одинаковым.

Приговоры были заранее отпечатаны на машинке. Свободное место оставлялось только для инициалов. Никто не требовал себе копию приговора. Это не имело никакого смысла. В приговоре ясно сказано, что он обжалованию не подлежит.

Никто никому не может пожаловаться.

О помиловании и речи быть не могло.

Таким было законодательство Сталина и его ближайших соратников – Вышинского, Смирнова, Ульриха, Матулевича и им подобных.

Путь в Сибирь по этапу

Вечером 7 сентября 1937 года, около восьми часов, нас вывели во двор тюрьмы, где стоял уже наполовину заполненный «черный ворон». В тот же день осудили еще четырнадцать человек. Всего получается тридцать два. Отвезли нас на пересыльный пункт Бутырской тюрьмы и высадили посреди большого двора, в котором размещалась церковь. При царе она обслуживала заключенных, сейчас же ее перестроили. Из нее сделали большое трехэтажное здание с множеством больших и маленьких камер. В каждой камере двух- и трехъярусные нары. Все камеры, рассчитанные на тридцать-сорок человек, были переполнены. В каждую из них сейчас набили в десять раз больше заключенных. Условия гигиены не выполнялись. Вместо уборных здесь стояли большие деревянные параши. Утром на восемнадцать человек выдавали всего по одной шайке воды. В нашей камере не было даже нар. Там стоял один большой стол. Я был счастлив, что мне удалось устроиться на краешке этого стола, иначе бы пришлось спать на голом цементном полу.

В камере после приговора царил мир, исчезло и большое напряжение, и беспокойство. Никого не уводили на допросы. Мы могли говорить обо всем и

ВСЯКОМ.

Рядом со мной сидел Василий Михайлович Чупраков – главный инженер московского компрессорного завода. Это был тип настоящего русского помора (сам он был родом из Котласа) – высокий и сильный, светловолосый и голубоглазый. Не привыкши сидеть без работы, он всегда находил себе какое-нибудь занятие. Вот и сейчас он латал нашу одежду. Почти каждый из нас рассказывал о своей жизни. Лишь Ефим Морозов, директор цирка, был подавлен. Он вздыхал и всхлипывал.

Пришел и мой черед рассказывать о себе, о том, как я приехал в Москву, что делал и как жил до ареста.

В Москву я прибыл 14 сентября 1932 года из Берлина через Литву. Шел дождь. Я быстро вскочил в автомобиль, уже ждавший меня на вокзале. Я был счастлив, что, наконец оказался в городе, о котором столько мечтал. На следующий же день я, согласно инструкции представителя Исполкома Коминтерна в Берлине, обратился к руководителю отдела Международных связей Абрамову. Моя первая встреча с ним была очень короткой. Абрамов вызвал начальника хозотдела Черномордика, и распорядился выделить мне жилье и обеспечить пропитанием. Тут же мне выдали пятьсот рублей.

– Отдохните несколько дней, а затем приходите ко мне, – сказал Абрамов на прощание.

Целый месяц я гулял по Москве. Когда же мне эти прогулки надоели, я решил снова обратиться к Абрамову. Отправившись в здание Исполкома Коминтерна, я обратился к дежурному сотруднику НКВД. Тот подозрительно осмотрел меня, затем кому-то позвонил. Через пятнадцать минут мне вручили пропуск к Абрамову. По дороге к нему меня еще трижды останавливали, требуя предъявить пропуск. В приемной Абрамова меня встретила его секретарша. Там я просидел целый час и лишь после этого был принят. Невзрачная фигура Абрамова тонула в большом кресле. Сквозь очки на меня смотрели пронизательные глаза. Задав для приличия несколько вопросов, Абрамов, наконец, спросил, четко выделяя каждое слово:

– Вы бы смогли руководить большой типографией и издательством специального назначения?

Я ответил, что у меня есть опыт такой работы.

– Тогда все в порядке. Обратитесь к Коларову, я с ним переговорю.

Коларов возглавлял Балканскую секцию Коминтерна, располагавшуюся в бывшем особняке русского промышленника Морозова на Воздвиженке, 14. Ныне эта улица носит имя Калинина. Я обратился к вахтеру, сотруднику НКВД, который, услышав мою фамилию, заглянул в какой-то свой список и произнес:

– Одну минуточку.

Я даже присесть не успел, как появился начальник секретариата Коларова Степан Адамович Бергман и повел меня к своему шефу. Тот, сидя в кресле, подал мне руку. В отличие от Абрамова, был со мной любезен. Это был сильный человек среднего роста с лысой головой, сидевшей на короткой шее. Он больше напоминал торговца, чем подпольщика, взорвавшего в 1923 году софийский кафедральный собор. Во время взрыва погибли сотни людей, в том числе министры, генералы и высокие государственные деятели.

Коларов позвонил. В кабинет вошла девушка, его секретарь.

– Сделайте нам две чашечки чая.

Пока мы пили чай, он расспрашивал меня о том, как я добирался, как выглядит Берлин, как поживает в Берлине товарищ Димитров и что я думаю о политической ситуации в Германии. Я сказал, что большинство считает, что Гитлер придет к власти в ближайшие несколько недель, максимум через месяц.

– Но мы не допустим, чтобы он пришел к власти, – небрежно произнес Коларов и обратился к Бергману:

– Сделайте все, что нужно, для товарища Штайнера.

Я попрощался в Коларовым и последовал за Бергманом в его канцелярию. Там мы два часа беседовали о моей предстоящей работе. Бергман водил меня из отдела в отдел и знакомил с руководителями – болгарами Горевым, Зелесовым, Бойкикевым, с румынами Паукер и Миронеску, с югославами Филипovichем,

Бошковичем, Радо Вуйовичем (Лихтом), Чопичем (Сенкой) и Гргуром Вуйовичем (Грегором). Познакомился я и с двумя поляками – Верским и Михальчулом. У большинства были псевдонимы. Балканской секции, занимавшей весь морозовский особняк, принадлежала еще и трехэтажная пристройка во дворе, где располагались типография и издательство МАИ (Международного аграрного института).

Итак, я вступил в должность. Две недели ушли на принятие дел в типографии и издательстве МАИ и знакомство с большинством персонала, среди которого были люди разных национальностей. Уже в первый день на меня произвел плохое впечатление тот факт, что в столовой было два разных зала. Большой – для «простых» рабочих и служащих, а второй, малый – для руководящих работников. В малом зале столы были покрыты скатертями, меню было разнообразным, как в ресторане, у стола прислуживал метрдотель.

Я сразу же попытался уравнять оба зала таким образом, что распорядился сервировать их одинаково и взимать одну и ту же плату. Из-за этого у меня произошел разговор с «тройкой» Балканской секции. «Тройка» состояла из представителя управления, секретаря парткома и председателя профкома. Они заявили, что моя позиция ошибочна и приводит к уравниловке. Мне пришлось отменить свое распоряжение. Через некоторое время я во второй раз столкнулся с «тройкой». Я хотел договориться с московским мясокомбинатом, чтобы он каждую субботу выделял нам три тонны внутренностей, а мы им обязались взамен печатать из бумажных отходов бланки. Они согласились. Рабочие и их семьи две субботы подряд получали по два-три килограмма мяса. Это заметил Бергман, который тут же заинтересовался, откуда мясо и каким образом его делят. Шеф-повар сообщил ему, что между мной и руководством мясокомбината было достигнуто такое соглашение. Естественно, об этом сразу же доложили Коларову. Он вызвал меня к себе и посоветовал прекратить раздачу мяса рабочим. Все мои попытки как-нибудь отстоять свою позицию ни к чему не привели. Коларов считал, что это будет способствовать появлению группы привилегированных рабочих, чего допускать никак нельзя. И все же я попытался кое-что сделать для рабочих.

На московской окраине Всехсвятское находилось наше рабочее общежитие, в котором, в основном, жили холостяки и малосемейные. Квартиры были примитивными, годами не ремонтировались, со стен падала штукатурка, полы прогнили. Мне с трудом удалось убедить Коларова и Бергмана, что общежитие необходимо капитально отремонтировать. Мой предшественник, венгр Ференц,

которого на это место поставил Бела Кун, полностью запустил предприятие, и я приложил немало усилий, чтобы привести его в порядок. В короткое время возросла активность рабочих, я завоевал среди них авторитет. Когда в 1935 году в нашей парторганизации проходила партийная чистка, стоило мне появиться на трибуне для выступления и ответов на вопросы парткомиссии, как все рабочие и служащие типографии встретили меня бурными аплодисментами. Я был удивлен. Представитель компартии Югославии Гргур Вуйович и представитель компартии Австрии Гроссман говорили обо мне как о мужественном революционере. Все меня хвалили. Председатель парткомиссии, генерал Красной армии, сказал, что предоставит слово лишь тому, кто выскажется о моих недостатках. Но таких выступающих не оказалось. Спустя несколько дней председатель комиссии сообщил, что я единогласно переведен в ВКП(б).

Мне приходилось принимать участие и в общественной жизни. Меня приглашали на различные конференции и собрания, на которых я, как представитель иностранного пролетариата, рассказывал русским рабочим и служащим о тяжелой жизни рабочих в капиталистических странах. Однажды я выступал на собрании студентов института иностранных языков. Там я познакомился с девушкой, которая вскоре стала моей женой. Я женился, получил квартиру и жил в полном счастье.

Круг наших знакомых состоял из живших в Москве эмигрантов из различных стран Европы. Многие из них разочаровались в России, но всегда искали и находили объяснения происходящему – все, что не соответствует здесь их коммунистическим идеалам, является наследием царского самодержавия. Лиль изредка доводилось слышать очень мягкую критику.

Когда в августе 1935 года я вернулся с Кавказа, где проводил отпуск, меня неприятно поразили два события. Мой заместитель по издательству Николай Маркович Любарский был арестован. На партсобрании было сказано, что он арестован за троцкизм. Второй неприятный сюрприз ожидал меня в типографии – там я застал еще одного заместителя. Мне никогда и в голову не приходило, что в типографии нужен второй заместитель, я пошел к Коларову с просьбой объяснить мне, как все это могло произойти в мое отсутствие и без моего согласия. И Коларов, и Бергман успокаивали меня тем, что я перегружен работой и что предприятие будет расширяться, и поэтому мне нужен еще один заместитель. Вскоре выяснилось, что мой новый заместитель, Смирнов, является секретным сотрудником НКВД, ибо НКВД не мог допустить, чтобы в таком большом и важном предприятии у него не было своего осведомителя. В первое

время Смирнов вел себя очень скромно. Но несколько позже он попытался внести в работу кое-какие изменения, которые я не одобрял и которые отменил. Смирнов становился все более агрессивным. Опираясь на своих негласных начальников, он начал критиковать предпринимаемые мною меры. На партийном собрании он говорил, что на нашем предприятии процветает «буржуазный дух». Мне даже не пришлось ему отвечать, так как его слова опровергали сами рабочие. В 1936 году, по случаю майских праздников, я получил большую денежную премию «за большие успехи в деле строительства социализма в Советском Союзе». Эти деньги нам с женой оказались очень кстати, так как жена ждала ребенка.

Но как отличалась моя нынешняя, московская, жизнь от заграничной! Мне приходилось регулярно посещать монотонные партийные собрания, на которых читались лекции, различавшиеся лишь по названию. На собраниях восхвалялась «мудрая политика» Сталина. Редко когда можно было услышать более глубокую мысль. Во время дискуссий ни о чем существенном не говорилось, каждый выступающий должен был хоть раз упомянуть имя Сталина. Я часто выступал на собраниях нашего предприятия. Поначалу я не знал, что черновик выступления следовало показывать партийному секретарю, который вставлял в него актуальные вопросы, решаемые в тот момент партией. У меня было очень мало личных связей с людьми, с которыми я работал. Трудно было найти русского, который решился бы поддерживать личные связи с иностранцем. Иностранные и русские коммунисты встречались только на партсобраниях. Родственников жены я почти не знал. Никто не решался приходить к нам в гости. Когда родственники моей будущей жены узнали, что она выходит замуж за иностранца, они советовали ей этого не делать. Единственным аргументом против женитьбы было:

– Да ведь он иностранец.

Даже после того, как Соня сказала, что я член партии, они не изменили своего мнения.

Однажды я сидел в сквере на Тверском бульваре. Рядом присел какой-то мужчина. Мы поговорили об обычных вещах. Но когда он заметил, что я иностранец, то встал и извинился:

– Вы очень симпатичный человек, но будет лучше, если я уйду.

И он пересел на другую скамейку.

На нашем предприятии секретарем комитета комсомола работала девушка Таня. Ей вздумалось пригласить меня к себе домой и познакомиться со своими родителями. Её родители и замужняя сестра обрадовались моему приходу. Приглашали приходить еще. Через несколько недель я застал в их доме морского офицера, мужа Таниной сестры. Все вели себя очень сдержанно, даже холодно. Я быстро выпил чай, сказал, что у меня есть еще дела, и ушел. На следующий день ко мне, якобы по служебным делам, зашла Таня и сказала, что ей очень жаль, что я так быстро ушел, но что я все-таки хорошо сделал, уйдя так рано. Ее шурин не любит, когда в квартиру приходят иностранцы.

Поэтому мне оставалось дружить только с иностранцами. Я радовался, когда время от времени из-за границы приезжали мои знакомые и рассказывали последние новости. Постепенно я стал ощущать вокруг себя удивительную пустоту, отчего у меня постоянно было дурное настроение.

Как-то, было это еще в 1934 году, я сидел в ресторане «Метрополь» с представителем отдела международных связей в Вене русским Баралом и директором крупнейшего универмага Москвы «Мосторг». Говорили мы и о положении в Советском Союзе. Тогда я сказал следующее:

– Венские социал-демократы пятнадцать лет убеждали меня в том, что здесь далеко не все в порядке. Мне понадобился всего лишь один день для того, чтобы убедиться в их правоте.

Не прошло и месяца, как меня вызвали в Коминтерн. Черномордик, начальник хозотдела, сказал мне:

– Ты забыл, где находишься? Может, тебе кажется, что ты в Вене, и можешь болтать свободно обо всем, как в венском ресторане?

Приближалась годовщина Октябрьской революции. Мы хотели пригласить некоторых друзей, чтобы торжественно ее отметить. 4 ноября 1936 года я, как и обычно, пошел на работу. Начальник планового отдела сообщил мне, что в октябре мы перевыполнили план на 29 %. Я пригласил к себе начальников отделов, чтобы обговорить с ними, как мы будем награждать рабочих. В обеденный перерыв я отправился с Филиппом Филипповичем (он же Бошкович) в

только что открытый ресторан для высших функционеров, располагавшийся в одном из крыльев Кремлевской больницы.

– Ресторан «Кемпински» в Берлине ничто по сравнению с этим, не правда ли? – спросил Бошкович.

Я ему не ответил, так как в ресторане «Кемпински» не был.

Во второй половине дня я пошел в канцелярию полиграфической промышленности на Таганке, чтобы заказать кое-что для нужд предприятия на будущий год. Здесь я столкнулся с определенными трудностями и вынужден был обратиться к Пятницкому, который через ЦК ВКП(б) добился того, чтобы все мои заказы были выполнены. Когда я вернулся к себе, ко мне на прием пришла директор нашей подшефной школы и попросила, чтобы я выделил для школы хоть немного денег, а также пригласила меня принять участие в торжественном заседании 6 ноября.

Бухгалтер нашего издательства заметил мне, что я выделил слишком большую сумму на подарки детям наших сотрудников по случаю праздника. Мы долго спорили по этому поводу, пока он не согласился. Было уже 18 часов. Я отправился к зубному врачу. В 20 часов я был дома. После ужина мы пошли с женой на прогулку. В 23 часа легли спать.

Я еду!

По окончании моего рассказа все молчали. И тут Немировский, инженер с Украины, прерывая затянувшееся молчание, рассказал трагикомический случай, происшедший с ним во время лечения в Кисловодске.

– Когда я появился в канцелярии санатория в Кисловодске, мне сказали, что я, к сожалению, должен буду поселиться в комнате с еще одним человеком. Но пусть меня это не пугает, так как мой сосед очень хороший и вежливый человек. Устав в дороге, я лег довольно рано и сразу же заснул. Разбудил меня удивительный сон. Мне приснился какой-то кошмар, который тут же заставил меня проснуться. И тут я увидел, что мой сосед стоит у подножья моей кровати и разглядывает

меня в упор, явно намереваясь подойти ко мне, а затем вдруг вытягивает руки и, словно подталкиваемый изнутри, прыгает на меня. Его руки стали искать мое горло. Я вскочил и сбросил его с себя. Началась борьба и шум, от которого проснулись люди в соседних комнатах. Наконец пришел санитар и расцепил нас. Я тут же потребовал встречу с кем-нибудь из администрации. Там я все объяснил. На следующий день это дело начали расследовать и выяснилось, что этот «хороший и вежливый человек» – душевнобольной, страдающий манией преследования – пытался меня задушить. Какой уж тут отдых и лечение.

Так, в рассказах о собственных приключениях и пересказах прочитанных книг прожили мы десять дней. Когда же снова зашли разговоры о пережитом во время следствия, Саша Вебер, бывший народный комиссар просвещения автономной республики Немцев Поволжья, принялся защищать Сталина и его режим и оправдывать отвратительные методы НКВД. Он говорил, что все это временно и коммунисты должны это понимать, хотя его самого, Вебера, страшно мучили и повыбивали почти все зубы.

* * *

17 сентября 1937 года нам приказали собираться в дорогу. Под усиленной охраной отправили на Курский вокзал. На запасном пути стояли два пассажирских вагона третьего класса. Вместо окон – решетки. Наша машина остановилась у самого вагона. Один за другим мы выходили из машины и заходили в вагон. В оба вагона втиснули около восьмидесяти лагерников и приказали сидеть смирно. Разговаривать можно было только шепотом. Мы попытались узнать у конвойных, куда нас повезут, но эти попытки оказались тщетными. Охрана не соизволила произнести ни единого слова. Мы стояли на станции два часа и наблюдали за маневрированием товарных поездов. Машинисты, кочегары и другие железнодорожники проходили мимо, с любопытством разглядывая нас. Гримасами давали понять, что они нас жалеют. И некоторые прохожие смотрели в наши окна. Было ясно, что эти люди искали среди нас кого-то из своих. Мы строили предположения о том, что женщины, случайно узнавшие, что их мужья осуждены, неделями бродили по путям московских вокзалов в надежде хотя бы издали увидеть родные лица. Я думал о Соне. Как хорошо было бы, если бы среди прохожих появилась и она. Как она выглядит? Здорова ли? Что с ребенком? Я ничего не знал. Конечно, она обходила тюрьмы, но это были безнадежные попытки.

Никто не мог узнать, где находится арестованный и что с ним происходит.

Наконец нас прицепили к пассажирскому поезду, стоявшему на первой платформе. С грустью смотрели мы на людей, свободно ходивших по перрону, сидевших в ресторане и закусывавших. Но вот поезд тронулся. Сердце мое сжалось. Куда? Когда я вернусь? Все молчали. Поезд миновал юго-восточные окрестности Москвы. С обеих сторон загона, вместо дверей, были железные решетки, сквозь которые за нами наблюдали охранники, постоянно напоминавшие, что разговаривать запрещено. Не спеша, перешептываясь, мы развязывали свои мешки с харчами, с так называемым «этапным пайком». В Бутырках нас снабдили продуктами на два дня – 1 кг 200 г хлеба, селедка и два куска сахара. Рядом со мной сидели Чупраков и Мареев. Мареев был управляющим большим нефтяным трестом в Москве. Типичный русский крестьянин: невысокого роста, широкоплечий, светловолосый, нос картошкой. Но он был очень сообразительным и работящим. Мареев жевал часть своего пайка и, казалось, улыбался. Я взглянул на него.

– Нет, нет, ничего, – сказал он. – Просто я вспомнил своего начальника в наркомате. Он был приверженцем четкой партийной линии и по любому поводу на собраниях бросал фразы о том, что необходимо любыми средствами направлять каждого на партийную линию или, как он сочно выражался, нужно было каждому поскипидарить задницу. Однако и моего начальника «поскипидарили» так же, как и нас – арестовали. На очной ставке он утверждал, что я его вербовал в контрреволюционную организацию. Таким образом, нас всех «поскипидарили» и теперь – езжай, игумен, в монастырь.

Так шепотом беседуя, мы почувствовали, что что-то происходит. Кто-то под лавкой нашел «Известия». Вероятно, газету забыл охранник. Газету читали с большим интересом, но нельзя было терять и бдительности, так как охрана могла заметить, чем мы занимаемся. И все-таки всеми нами овладело такое возбуждение, что мы позволили незаметно подойти к нам охранникам и отнять газету.

Во Владимирской пересылке

Через двенадцать часов поезд остановился на какой-то станции, начав маневрировать и оставив на запасном пути вагоны с заключенными. Мы прочитали название станции – Владимир. Подъехало три «воронка», в каждый разместили по двадцать пять человек. Было пять часов утра. Нас везли по окраинам во владимирскую тюрьму, находившуюся за городом. Конвой предупредил нас, что будут стрелять, если кто-то попытается бежать. В машине никто не смел даже повернуть головы. Владимирская тюрьма стояла на холме. Нас высадили и оставили перед тюремными воротами на целых два часа.

Вокзалу во Владимире более ста лет. Сто пятьдесят лет назад здесь была построена этапная станция для несчастных, сосланных на каторгу в Сибирь. В трех зданиях раскинулась общая тюрьма, а в четвертом – одиночки. Последнее здание было построено относительно недавно, в 1912 году. Рядом с этими зданиями находились больница, баня и кухня.

Наконец, ворота открылись. Раздалась команда:

– Внимание! Заключенные, встать!

Мы поднялись из грязи, построились в колонну по пять и вошли в большой двор. Началась перекличка. Нужно было назвать свое имя, отчество, фамилию, день и место рождения, статью и срок наказания. После переклички нас отвели в помещение, в котором было запрещено разговаривать, курить и есть. Мы долго ждали, когда подошла моя очередь, меня отвели в отдельную комнату, раздели догола, отняли все – одежду, белье, личные вещи. Энкавэдэшник очень тщательно обыскивал все мое тело. Но когда он сунул мне палец в рот, глубоко в горло, я не выдержал, оттолкнул его руку, а он заорал:

– Фашист!

После обыска нас повели в душ. Раздали тюремную одежду и обувь, остригли наголо и отправили в камеру. Смешно и сиротливо выглядели мы в своем новом одеянии. Темно-синяя хлопчатобумажная роба, залатанная коричневыми заплатками на локтях и коленях, шапочка, ботинки на резиновой подошве, скомбинированные из свиной кожи и некачественного сукна, короткий бушлат – все это висело на нас и было слишком широким, либо слишком тесным. Мы с трудом узнавали друг друга.

Нас поместили в камеру на первом этаже, окна которой были наполовину под землей. К тому же солнце туда не попадало вообще, так как они были обращены на север. Нары располагались в два ряда: в одном ряду семь, в другом – шесть. Был еще и большой стол. Вот и вся мебель. На каждом нарах лежали соломенный тюфяк, подушка, также набитая соломой, и покрывало. Было холодно. Паровое отопление не работало. Камера была слишком узкой для того, чтобы человек мог свободно по ней пройти. Нары и стол вмонтированы в цемент. В углу стояла жестяная параша.

Ощущение было неприятное. Мы потеряли все надежды на то, что здесь нас оставят в покое и будут обращаться с нами по-человечески. Два раза в день нас выводили в уборную и требовали, чтобы тридцать человек за пять минут справляли нужду. Конвойный нас стаскивал с очка так, что мы даже не успевали надеть штаны. Мы все время страдали от голода. Пятьсот граммов хлеба ежедневно, утром немного чая, в обед и вечером тарелку овощной или картофельной баланды, мисочку каши. Все было жидкое, и к тому же всего было мало. Двор, в который нас водили гулять, был перегорожен деревянными перегородками. Поскольку на прогулку выводили все камеры одновременно, то в каждом таком отделении ходило кругами пятнадцать минут тринадцать человек в колонне по одному, держа руки за спиной и глядя в землю. Попробовал бы кто-нибудь поднять голову!

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tn.knigapoisk.com/ru/karl-shtayner/7000-dney-v-gulage-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)